

18+

Виталий Конеев

**Детство
на тёмной
стороне Луны**

Виталий Конеев

Детство на тёмной стороне Луны

«Издательские решения»

Конеев В. М.

Детство на тёмной стороне Луны / В. М. Конеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-561456-8

Моё детство, обычное для детей в СССР, было тщательно скрыто от мира людей. А так жили все дети, которые потом стали уголовными преступниками. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-561456-8

© Конеев В. М.
© Издательские решения

Содержание

Автобиографический роман	6
Глава 1	9
Глава 2	13
Глава 3	24
Глава 4	27
Глава 5	30
Глава 6	32
Глава 7	36
Глава 8	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Детство на тёмной стороне Луны

Виталий Матвеевич Конеев

© Виталий Матвеевич Конеев, 2022

ISBN 978-5-0056-1456-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автобиографический роман

Психологическое и философское «исследование» того, как человек становится бандитом – на примере одной биографии
Своё детство я назвал в одиннадцать лет «Двойной Бухенвальд». Я «сгладил» большинство событий. Но ещё больше событий своего детства я не решился изложить, потому что они жуткие... «грязь». Вы все видели фильм «Калина красная». Вы видели «пронзительную сцену», когда герой пришёл к старушке, «божьему одуванчику». Но Вы не задали вопрос: почему замечательная мама воспитала профессионального уголовника?..И просьба к беременным женщинам: не читайте роман!

Полог

Мне было двадцать семь лет, когда я приехал в село к матери, летом после экзаменов в университете. На улице меня окликнула тётя Надя и, смеясь, громко сказала:

– Витька, а твоя мать бегают по селу и всем говорит: «Все агаголики, а мой Витька вумный. На юриста учится. Вот какого сына я воспитала!»

В деревне у женщин только две темы разговоров: сплетни и хвастовство детьми, мальчишками. Мать, «лаясь» с бабами, всегда кричала: «Мои дети вумные, а ваши – идиводы!» а дома мать всегда говорила мне и моему старшему брату:

– Вы говно моё не стоите. Я вас высрала. Молю Бога, чтобы вы подошли. Навязались на мою душу, идиводы проклятые!

А нашу младшую сестру мать называла только одной фразой «Змия подколодная».

У тёти Нади было двое сыновей – мои приятели детства и юности. Хорошие парни. Великолепно играли на гитарах, но после школы пошли работать, как все. И как все, начали сильно выпивать, потому что в деревне не пьющий человек – это не человек, «не Путный, не Путявый, не по Путью».

Мне было семнадцать лет, когда парни и девушки начали смеяться надо мной, рассказывая мне, как моя мать кричала у каждого магазина бабам:

– Ваши дети агаголики! А мой Витька не курит и не пьёт, книжки читает! Вумный!

Мои книги мать рвала и бросала в печку, а дураком называла меня с двух лет, всегда. Я тогда начал курить по две – три пачки в день и пить брагу и самогон. И был обрадован, когда услышал крик соседки тёти Зины:

– Чо ты хвалишься Витькой! Он весь переулок заблевал и курит, как паровоз! Такой же дурак, как все!

И мать перестала позорить меня перед людьми. Но вскоре вновь парни рассказали мне о том, как мать хвалилась мной, но теперь почему-то в КБО, кричала девушке, которую я не знал и не мог знать:

– Мой Витька красивый, лучше всех! С тобой дружить не будет, лахудрой. Не нужна ты моему Витьке. Не посмотрит на тебя. Он красивый!

А дома мать всегда называла меня: «Уродина, страхолюдная! Никому ты не нужен!» Впрочем, такими же словами она называла моего старшего брата, который был красивым, как олимпийский бог. Когда он собирался вечером, чтобы пойти в кино, он молчал, а мать кричала ему:

– Чтоб тебе там первая пуля! Чтоб тебя зарезали, урод!

Когда брат в семнадцать лет попал в тюрьму, я сказал матери:

– Ты во всём виновата.

Она закричала душераздирающим криком:

– В чём это я виновата? Это я что ли посылала вас на преступления?

Я не удивился тому, что сказала тётя Надя, так как моя мать каждый день хвасталась мною среди баб, чтобы показать им саму себя особенной, выше всех по уму, хотя она была неграмотной. Я уже давно привык к такому поведению матери. И ничего не сказал бы ей, когда вошёл в домик. Она сидела у окна, старая беззубая старуха, опираясь на кривую палку. Закричала:

– Сынок родной, любимый! Приехал! Поди, голодный, а ты поешь!

Вот эту последнюю фразу она начала говорить мне в последние два года, хотя в домике ничего кроме чёрствого чёрного хлеба никогда не было. Я помнил другие фразы матери, которые я слышал каждый день в детстве:

– Ненасытная харя! Полбулки сожрал и не подавился! Чтоб ты подох! Кормлю тебя зачем-то.

И она прятала от меня хлеб. И я не ел неделю, две недели, три... месяц, два.

Я стоял у порога и смотрел на мать, которую безумно любил в детстве.

В последние годы я часто думал над проблемой: как обращаться к матери? Назвать её «мамой» я не мог. В деревне дети так не обращались к матерям. А сказать ей «мамка» я тоже не мог, потому что стал другим человеком.

– Ты перестань хвастать мной. Это не ты воспитала меня. А я себя воспитал.

Улыбчивая гримаса на дряблом, морщинистом лице старухи сменилась гримасой злобы, которую я видел на лице матери в детские годы.

– Да кому я скажу – смеяться будут. Ишь, сам себя воспитал. Это я тебя воспитала!

И я в ответ сказал злобной старухе:

– А почему ты воспитала своего любимца Кольку так, что он три класса не закончил, читать не научился. Я ему сказки читал. В семнадцать лет он ушёл на зону. Вернулся, спился и сгорел. Почему ты его так воспитала? Иди, хвались любимцем, а не мной.

Мать ничего не сказала. Быстро помогая себе палкой, повернулась лицом к окну. А я заглянул в буфет. В нём лежала чёрная булка хлеба чёрствая и безвкусная. А иной хлеб местные пекари не выпекали, не умели. Я пошёл в столовую, потому что привык питаться три раза в день с девятнадцати лет, когда начал жить в городе Томске.

Я хорошо запомнил тот день, когда мой наставник Вася привёл меня в заводскую столовую. И я поставил на поднос шесть тарелок.

– Ты столько не съешь, – сказал Вася.

Я ел и восхищался едой, а Вася ответил:

– Это ерунда. Вот в деревне варят! – и он показал мне большой палец.

Вася не знал, что я приехал из деревни. Он никогда бы не поверил мне, если бы я сказал ему, что до девятнадцати лет я ел в деревне чёрный хлеб с маргарином один раз в сутки, вечером. Многие мои товарищи по детству завидовали мне, что я мог кушать хлеб и даже молоко. Мы все родились на «тёмной стороне Луны», где родились все чикотило, все убийцы, насильники, бандиты, проститутки, наркоманы и алкоголики. Моя мать, мой брат – были на «зоне». Я в четырнадцать лет едва не попал в колонию малолетних преступников.

Когда я ходил на подготовительные курсы в ТГУ, со мной за один стол постоянно садилась толстая девушка с гладким лицом. Я не обращал на неё внимания.

В тот вечер она шла рядом со мной. Мы уже покидали главный корпус ТГУ и вышли в парк, как вдруг девушка заступила мне дорогу и воскликнула, хотя я никогда с ней не говорил и не знал: кто она:

– Вот ты в детстве, как сыр в масле катался, а я такое пережила!

Её слова о моём детстве были для меня, как внезапный удар в лицо. Я потерял самообладание и начал стремительно, скороговоркой рассказывать, как короткие новеллы, о своём

детстве. Она удивлённо смотрела мне в лицо секунд двадцать, а потом резко шагнула на меня и властно сказала:

– Это надо забыть! Это грязь! Соскоблить с души!

– Грязь?! – закричал я, не обращая внимания на людей, которых было много вокруг нас. – Это моя жизнь! Слушай!

Она побежала по парку к проспекту, а я бежал за ней и рассказывал. На автобусной остановке толстая девушка зажала пальцами уши и умоляюще попросила:

– Прекрати. У меня сердце остановится.

А я продолжал говорить, потому что ничего не видел в этот момент, кроме своего проклятого детства, в котором был ад и двойной «Бухенвальд». Девушка запрыгнула в троллейбус и уехала. Я опомнился. И начал люто ненавидеть себя и ругать за то, что я посмел открыть свою душу. Я ведь всегда презирал парней, которые говорили женщинам о своей душевной боли.

Девушка больше приходила на курсы. А спустя год, когда я уже был студентом, я зашёл в городскую столовую и увидел её в кухне. Она была поваром, улыбнулась мне очень нежно. Я удивился тому, что у неё замечательная улыбка, что она была хорошенькой. Но у меня было много проблем. Я только кивнул ей головой, поел и ушёл...

Глава 1

Моей матери было тридцать восемь лет, когда она родила меня в глубине сибирских болот в брошенной людьми деревне Барки. Мать и отец пасли колхозное стадо коров и овец, а на ночь загоняли скотину в дома.

Мать знала счёт до двадцати и могла по освещённости днём и ночью определить время с точностью до минуты. В двенадцать часов ночи мать затопила печь, чтобы нагреть два ведра воды, чтобы помыть новорождённую девочку, так как была уверена, что родится девочка. Мать закрыла входную дверь на большой крючок красного цвета, а три окна комнаты-избы с двойными рамами и целыми стёклами занавесила рваными тряпками, которые нашла в деревне.

Когда дрова в печке сгорели, мать закрыла трубу «вьюшкой»... железной пластиной, приготовила на полу нитки, ножницы, чистые тряпки, поставила рядом с ними два ведра воды и легла на грязный пол. И начала ждать родовые схватки.

Я родился в четыре часа утра шестнадцатого августа. В комнате- избе уже было светло, и мать увидела, что родила мальчика, не нужного ей.

– Я взяла тебя вот так... – и она показывала руками, сжимая мои бока под мышками.

Она быстро и уверенно сунула меня головой вперёд в ведро, сидя на полу. И в этот момент она ощутила, что её руки кто-то сильно сжал и рванул вверх, вырвал меня из ведра и отпустил руки матери.

– Я испугалась и закричала...

И мать показывала мне и бабам движениями рук и пальцев, где её схватили невидимые руки, много раз сжимала запястья. Мать от страха описалась. В избе была одна комната. В ней никого не было, а дверь была на крючке.

Мать осторожно помыла меня водой, перерезала пуповину, завязала её нитками, завернула в меня тряпки и побежала со мной по болотам в сторону Оби, к переправе. До переправы было пять километров, но мать была очень сильной и выносливой... В свои сорок семь лет, когда она работала грузчиком на мельнице, я видел, как она вскидывала с земли на плечо мешок с пшеницей (90 килограммов) и поднималась по лестнице на второй этаж и выше к квадратной воронке, в которую, держа на плече мешок, высыпала зерно. И ноги у неё не дрожали. А дыхание было ровным.

Ожидая паром на берегу Оби, мать увидела красные пятна на запястьях рук. А кожа у матери была очень грубой.

Когда мать рассказывала эту короткую историю, я, как всегда, внимательно и безотрывно смотрел в её лицо. В такие минуты оно было энергичным, а её глаза были очень оживлёнными. Бабы смотрели на меня, говорили:

– А к чему бы это?

– А чо это так-то?

Во время войны и после войны было нормальным делом в деревнях убивать младенцев. Поэтому баб не удивляло поведение моей матери. Она всюду, где бы ни находилась, рассказывала эту короткую историю, поэтому, едва я прибежал вечером к лавочкам, полным людей, как они начинали рассматривать меня.

Я помню себя с полутора лет. Мы тогда жили на «Красной горке» в чужом домике. Отец сидел за печкой, а я ждал мать. Она уходила на весь день к бабам «посидеть» и забирала с собой моего старшего брата.

С криком радости я бросался к ней, едва она входила в домик. А так как я сильно припечатывался к её ногам, она отталкивала меня в сторону ногой и бормотала:

– Вот навязался на мою душу. И никак не подохнет. Иди вон к папке.

А утром она вновь уходила к бабам, и я ждал её весь день. Тягостное чувство ожидания повторялось многократно, и я его запомнил.

Мне было два года. Я бегал голым по Красной горке, как вдруг услышал мычание коров. Я знал, что мой отец пас колхозное стадо, и побежал в узкий переулочек. Он был шириной не более четырёх метров, и круто уходил вниз, к реке, потому что раньше он был берегом Оби. Река давно отступила, и люди стали использовать берег, как огороды. Внизу переулочка вдоль огородов тянулась дорога, которую протоптали коровы. Дорога уходила в сторону заболоченной низины, где мой отец и пас колхозное стадо.

Я вбежал в переулочек и остановился наверху, глядя вниз, как коровы начали плотной толпой втягиваться в узкий переулочек. Внизу что-то крикнул отец. Я не понял его крик, но отступил вбок. Я стоял в полуметре от ограды. Она была сплетена из ветвей ивы и держалась на кольях. Внизу переулочка ограда трещала, потому что скотина, когда поднималась в гору, всегда переходила на бег. Коровы бежали вверх по крутому подъёму плотно друг к другу и давили своими круглыми боками на плетень. Коровы видели меня. Те коровы, которые бежали снизу прямо на меня, начали замедлять бег, переходить на шаг и отступать влево от меня. Я видел, как они вжимались в стадо, замедляли его бег, хотя сзади этих коров поддевали рогами другие коровы. Но все они обходили меня и даже не задели своими круглыми животами, хотя плетень по-прежнему трещал на обеих сторонах узкого переулочка.

Ко мне подбежал отец, ударил меня кнутовищем по левому плечу и ушёл на улицу за стадом.

На следующий год весной родители купили маленький домик на противоположной стороне огромного села... И была пьянка... молодые мужики насильно вкладывали отцу стаканы с бражкой.

– Ну, давай, Матвей, харя твоя нерусская! Пей, ёб твою мать!

Он быстро кивал головой и торопливо пил. А ему уже подносили самокрутки.

– Кури, Матвей. Ты же мужик. Кури в затылок, поглубже.

Он курил и кашлял, а мужики смеялись, тыкали кулаками ему в лицо, в грудь и требовали, чтобы он вновь пил бражку. Быстро опьянев, Матвей смотрел на меня и пьяно улыбался.

А потом началась обычная для деревенской пьянки драка. Мужики пугали друг друга матерными криками, кривыми гримасами и неуклюже били друг друга. Мать, весело смеясь, оживлённая, радостная, тоже материлась и расцепляла руками мужиков, которые царапали друг другу лица, трясли друг друга «за грудки».

Спали мы все вместе на широком деревянном топчане. И вдруг мать купила железную кровать с металлической сеткой. Кровать можно было пронести от магазина по берегу реки. Но мать повезла её на санях по улице, чтобы все видели. Сани имели в задней части почти вертикальную решётку. И мать стояла на санях, широко расставив ноги и опираясь задом на решётку.

Я бежал сбоку от саней и безотрывно, а иначе я не умел, смотрел в лицо матери. И запомнил её особенно выражение – мрачное, гордое и надменное.

Я всегда на большой скорости подбегал к матери и, запрокинув голову, смотрел пристально в её лицо.

– И чо смотрит, придурок изводённый. Подох бы лучше, – говорила мне мать почти каждый день.

Мать и отец не смогли поставить кровать на крючки, которые находились на «головках». И тогда родители начали орать.

– Да разъяби твою мать! – кричала мать, бросая «головку» на пол. – Что ты за мужик сраный!

Матвей нарочно взъерял себя, чтобы показать матери, что он сам по себе, визгливо орал:

– Хули! Зачем ты её купила?!

И тогда они начали орать, матерно «лаясь», то и дело поминая Бога, Христа и Божью Мать.

Матвей нарочно взъерял себя истеричным криком, конечно, подражая крутым деревенским мужикам, которые без крика и мата не умели говорить. Мать дёргала из стороны в сторону части кровати...

До того, как родители купили домик, мы всегда жили в чужих домах, и родители никогда не ругались. А едва мы вселились в своё жильё, как они тотчас начали «лаяться». Шла борьба за власть, вначале на матах, а потом они схватились в драке. И мать расцарапала ногтями лицо Матвея, сверху вниз широкими полосами. И он, стыдясь соседей, уходил на работу через огород и по берегу реки. А возвращался домой в сумерках или ночью, чтобы люди не увидели бы ободранное лицо.

Мать очень гордилась и хвасталась перед соседками, что она била Матвея.

– Я бью своего мужика. А ваши мужики вас бьют!

Но соседские мужики были добытчиками, умело вели своё хозяйство. А у нас крыша домика была дырявой... Начались дожди. Я с визгом бегал с банками, чашками и подставлял их под струи воды, что непрерывно струились с потолка. А мать тяжело вздыхала и говорила Матвею:

– Поднимись наверх, сделай по-доброму крышу.

Матвей сидел за печкой – буржуйкой и молчал, натянув на лицо замасленную кепку или замасленную шапку. А если мать посылала его за водой на речку, он бросал вёдра в огород и убегал на улицу.

В начале лета они начали лепить ограду в конце огорода, вдоль берега Оби. Мать и отец вбивали колья в землю, делали неглубокие ямки, наливали туда воду и снова вбивали в ямки колья. Брызги летели по сторонам.

Не знаю, где родители подсмотрели такой способ создания ограды, но двойные колья вошли в землю сантиметров на 10 – 15. Между ними отец и мать положили жерди... К вечеру от сильного ветра ограда рухнула под берег реки... И они опять вбивали колья в землю до глубокой ночи. И я видел их фигуры на фоне Оби, и слышал их матерную ругань.

А утром ограда вновь валялась под берегом реки.

Мать часто на новом месте, со стоном раскачиваясь на самодельной табуретке из кедрового бруса, напевно кричала:

– Ой, как хочу жить одна! Ой, надоели дети проклятые! Подошли бы все. Жила я вольной лебёдушкой... И вот навязались на мою душу! Подыхаю в неволе!

И она громко рыдала, прижимая к лицу грязное полотенце.

Я в состоянии дикого ужаса бросался к матери, обнимал её и плакал. А мой старший брат не подходил к ней, только изредка хныкал. Он никогда не бросался навстречу матери, не прижимался к её ногам и не смотрел ей в лицо. Но напуганные криком матери: «Умираю!» мы оба начинали кричать. А Матвей неподвижно сидел за печкой, закрыв лицо кепкой или шапкой.

Мать опускала полотенце и открывала красное, заплаканное лицо, и смеялась, говоря:

– Идиводы, я пошутила.

Через год мы уже трое детей не верили её крикам, что, мол, «лебёдышка умирала, что смертный час для неё наступил». Мы молчали. И она, обзлённая на наше спокойствие, зло говорила:

– Не сочувствуете матери. Мать пот, кровь проливает. Мантулит, мантулит, а вы, дармоеды, лодыри, сидите на шее матери и не почитаете её!

В 1991 году я посмотрел архив колхоза, в котором работали мать и отец. Матвей начал работать в колхозе пастухом в 1949 году, а мать – в декабре 1958 года. Я сказал матери: «Ты до 58 года нигде не работала. А почему ты нас пугала, что проливали пот, кровь и мантулила?»

Мать широко открыла беззубый рот и начала громко смеяться. А я смотрел на неё и вспоминал дикий ужас, когда мать кричала, что могла умереть на работе. А она сидела у баб на «Красной горке» весь день и каждый день ...много лет.

Когда родители «лаялись», я немедленно подбегал к матери спереди. Хоть мне было три года, но я уже заметил, что когда мать «лаялась» с Матвеем, она не замечала, кто у неё под ногами. И очень мягко отстраняла меня руками в сторону. А я стремительно обегал её вокруг и вновь спереди прижимался к её ногам. И мать вновь мягко повторяла свой жест рукой, так как увлечённо, самозабвенно ругалась с Матвеем.

Глава 2

Мать положила, закутанную в доху маленькую мою сестру перед ступеньками большого дома, который назывался «Детский сад». И ушла вместе с Матвеем и Колькой, якобы, на работу.

В огромном дворе сидели на земле, ходили, примерно 50 детей. Это был общий для всего райцентра «детский сад». Около кучи песка с лучинками, щепками выли, подражая машинам, два мальчика. Я ходил, стоял, сидел, а потом заглянул за стену домика, куда часто бегали молодые, здоровые девки, бегали из дома. Там был стол. И вокруг него сидели девки и торопливо хлебали суп, ели котлеты, компот, булочки и пирожки. В мою сторону девка махнула ложкой.

– А ну пошёл отсюда!

И я вернулся к крыльцу, где уже обосранная, перепачканная жёлтым дерьмом верещала моя сестра. Она выползла из дохи и шлёпала ладонями по земле. Где-то пронзительно закричала девочка. И тотчас раздался властный голос:

– Скорей принесите мёд! Она дочь начальника!

Девки, одна за другой, перепрыгнули через мою сестру и скрылись в глубине дома. А я стоял на одном месте или ходил по двору, потому что во дворе не было ни лавок, ни табуреток.

Я сел на землю и сидел до обеда. В «детском саду» кормили один раз и всегда одной и той же едой. Мы сели в длинной комнате на лавки, а девки в грязных, белых халатах налили в тарелки по одной поварёшке жидкий кисель без сахара и сунули каждому ребёнку в руку маленький кусочек хлеба. А сестра лежала перед крыльцом до прихода матери и спала.

В детстве и юности я думал, что наша семья ела хлеб, заработанный матерью. И только в 1991 году, просматривая архив колхоза, я понял, что всё зерно получал Матвей. Я понял, что мать купила корову и домик на деньги Матвея.

Зимой они пошли во двор пилить дрова. А я побежал за матерью и встал по другую сторону козлов, чтобы смотреть на неё. На козлах лежало бревно. Мать, угрюмая, протянула руку к ручке пилы и сильно рванула её в бок на голую руку Матвея, что лежала на бревне. Зубья прошли по руке. И Матвей тонко крикнул, а потом чуть присел и сунул окровавленную руку между ног.

Мать дёрнула вверх и вниз головой, хмыкая и криво улыбаясь, и сказала:

– Ты не мужик, а говно.

В домике она взяла грязную половую тряпку, что лежала у входа, засохшую, словно окаменевшую, и бросила её под ноги Матвея.

– На, утрись.

И он прижал не гнущуюся тряпку к своей руке.

Мать любила сидеть весь день на хромоногой кедровой табуретке, широко расставив ноги и оцепенело глядя вниз. Её глаза становились мёртвыми. И я, каждый день, слыша от неё крики: «Ой, умираю! Ой, скоро умру!» боялся, видя её такой, что она могла умереть. Я подходил к ней и толкал её двумя руками. Мать словно просыпалась и сердилась.

– Да чо это за ребёнок такой? Ни минуты покоя.

Она доставала из кармана куртки или мужского пиджака горсть семечек и начинала щёлкать. Я почему-то всегда подходил к матери с левой стороны, внимательно рассматривал её левую руку. Разгибал её пальцы, толстые и грубые. Они полностью не разгибались. А кожа на руке была покрыта трещинами, в которых была чёрная грязь. Я прижимался щекой к ладони и ощущал, что она была горячей.

Я, конечно, часто видел, как мать обнимала Кольку, хотя он не хотел её объятий, и целовала его в щёку. И я прижимался щекой к ладони матери, к одной, потом – к другой и ждал,

и хотел объятий матери. Она равнодушно смотрела на меня и ловко метала из правой руки семечки в рот, и пальцем сбрасывала шелуху с губы.

Матвей ставил капканы в «холодной» комнате и ловил крыс. Их расплодилось много, потому что родители хранили мешки с зерном в той комнате, а крысы его кушали. Матвей, радостно посмеиваясь, аккуратно снимал ножом шкуру с добычи, сушил её на доске над буржуйкой. А потом уносил стопку шкур в заготконтору, получал деньги, покупал пряники и конфеты, которые съедал один.

Я всегда был голодным потому, что родился гиперактивным ребёнком.

Когда мать сидела на своей табуретке, я опирался грудью на её колено и, глядя в её лицо, говорил:

– Мам, исть хочу.

– Отстань. Навязался на мою душу.

– Да ты его шугани, – говорили бабы, с которыми мать сводила свои сплетни весь день и до глубокой ночи.

Мать, жестоко битая «в людях», никогда не била ни брата, ни меня. А Матвей, который, как и мать, был недоволен моим громким смехом, игрой, рифмованными стихами, которые я сочинял с трёх лет, пытался ударить меня, чтобы я затих. Мать показывала ему огромный кулак.

– Не смей. Морду-то разобью.

Я с первых лет жизни видел, что моя мать была защитницей, и всегда нарочно путался в её ногах, когда она приходила домой, нарочно заступал ей дорогу, потому что хотел, чтобы она взяла меня на руки. Мать отстраняла меня в сторону и бормотала:

– Ой, какой ты надоедливый. Шагу ступить не даёт.

Уже радио замолчало, и свет трижды мигнул, а бабы всё говорили и говорили. Наконец, лампочка погасла, и бабы в темноте торопливо добубукали свои сплетни и разошлись по домам. Мать с глубоким вздохом взяла подойник и пошла в темноте в тёмную землянку, где жила наша корова Веска. В темноте мать резала чёрствый хлеб, наливала в кружки из подойника молоко. Брат часто не ел ни молоко, ни хлеб. И я громко спрашивал мать:

– Почему он не ест?

– А потому что он не такой проглот, как ты, – отвечала мать.

Вероятно, один раз в месяц мать покупала маленький кулёк сахара, граммов 100. Она шла из магазина, держа кулёк перед собой, чтобы все видели. Высыпала сахар на столешницу, и пальцем начинала делить на три кучки. Я видел, что моя кучка была маленькой, и я вначале просто громко требовал от матери, чтобы она дала мне кучку брата или сестры.

– У тебя глаза, идивод, завидущие. Кучки ровные, – отвечала мать и смешивала кучки.

И вновь пальцем делила сахар, и вновь я видел, что моя кучка самая маленькая. И тогда я пронзительно кричал:

– Дай мне Колькину кучку!!!

Мать зажимала уши, а потом смешивала сахар. Матвей из-под шапки бубукал, сидя за печкой:

– Дала ему волю...

– А тебя, туняец, не спросила.

Я уже обливался слезами и непрерывно кричал, чтобы мать дала мне кучку брата или сестры. Я глушил своим криком всех домочадцев и самого себя, потому что у меня от крика в ушах звенело. Мать сердилась, но всё равно делила сахар по-своему, и моя кучка всегда была самой маленькой.

А на следующий год летом я увидел и понял, почему брат и сестра часто не хотели кушать хлеб и молоко. Вероятно, я что-то почувствовал и выбежал на берег реки. Внизу у воды стояли мать, брат и сестра. И мать кормила их пряниками и конфетами, и чем-то ещё.

О! Каким душераздирающим криком я закричал. И не помню, как я слетел с высокого берега вниз. Мать испуганно оглянулась по сторонам и торопливо сунула мне в кричащий рот пряник.

– На, захлеснись, идивод. Вот идивод навязался на мою душу. Никак не подохнет. – И она нарочно, словно испуганная, пуча глаза, зашептала: – Тихо, сейчас дядя мильтон придёт и убьёт тебя на хер!

Я обливался слезами, жевал пряник и не чувствовал сладости. Мне было тогда три года. А семилетний брат тыкал кулаком в мой бок и зло говорил:

– Дурак, проглот.

Они все называли меня «дураком», «проглотом» или «Эй ты»... Когда я начал сочинять стихи, то все называли меня за это «дурак»... Когда я начал сочинять музыкальные мотивы, то опять же я для всех был «дураком».

И каждый день мать водила брата и сестру в столовую... Но об этом я узнал в юности.

Мать часто говорила бабам:

– Ох, не люблю я варить еду.

И варила с осени до весны не более двух раз, похлёбку. Когда мать из чугунка наливала поварёшкой бурду в большую чашку, я бросался с ложкой вперёд и стремительно, на пределе физических сил черпал жижу и совал её себе в рот. Из ложки бурда расплескивалась по столешнице. Мать тыкала поварёшкой мне в голову.

– Да подожди ты, дурак изводённый.

Матвей всегда ел, сидя за печкой. И если мать говорила ему: «Матвей, садись за стол», он отвечал: «Не хай. Я буду здесь».

Иногда он садился за стол и, пользуясь тем, что мать была недовольна моим поведением, сильно, с размаху бил меня ложкой по лбу. Он был калмык, а мать была полькой. Два взгляда на воспитание детей столкнулись в нашей семье – лоб в лоб, в прямом смысле слова, хотя родители были абсолютно неграмотными. Отец требовал, чтобы я вёл себя, как послушный раб. А мать, хоть и ругала меня, но никогда не наказывала. И если Матвей пытался толкнуть меня или пнуть ногой, мать угрожающе говорила:

– Но, но!

Благодаря матери- славянки у нас, детей сформировался независимый характер. К тому же мой брат родился от цыгана. Я только в четыре года узнал, что рядом с нами, в переулке жил брат моего брата Сашка. Они были братья по отцу.

Тётя Лиза маленькая, весёлая, озорная, но некрасивая женщина свела мою мать с Матвеем. Пригласила его в свой домишко в переулке. И когда он вошёл в домик, задорно крикнула:

– Ну, что, Матвей, нравится тебе девка?

– Ага, ага, нравится, – ответил Матвей.

Тётя Лиза всегда смеялась, когда я приходил в переулок, и рассматривала меня. И о чём-то спрашивала. Её сожитель Чехонат тоже, но угрюмо смотрел на меня. У тёти Лизы было четверо детей. Она нигде не работала. Картошку не садила в огороде. И семья жила мелким воровством. Родители на нашей улице запрещали своим детям играть с «Чехонатскими» детьми. Поэтому вороватый Саша и его брат Генка всегда настойчиво звали меня к себе в домишко:

– Витька, айда к нам, покажем тебе что-то интересное.

Маленький квадратный домик утопал в земле. За дверью были три ступеньки, а внизу был земляной пол. Сбоку стояла русская печка. Зимой Сашка выбегал во двор в одних рваных трусах, босиком и рубил топором забор. Хвалясь передо мной, Сашка прыгал по снегу, кувыркался через голову. И нарочито неторопливо разрубал доски на куски. Наполнял дровами печку. И в комнате становилось очень душно и жарко. А ночью было холодно, и мы все

садились на стол. Кроме стола и лавки в комнате не было никакой мебели. Вся семья зимой и летом спала на печке.

Но вот открывалась сверху дверь, и в комнату врвался белый холодный воздух. И из него выходила и спускалась вниз тётя Лиза. Дети никогда не бросались ей навстречу. Она осматривала нас и часто протягивала деньги Сашке, чтобы он купил хлеб. И Сашка зимой и летом в одних и тех же рваных на жопе трусах бежал в магазин, босиком. Приносил булку хлеба, но без довеска (Съедал по дороге!).

Тётя Лиза делила хлеб на всех с помощью палочки, чтобы куски были одинаковые. Получал свой кусок и Чехонат, волосатый и страшноватый на вид мужик. Мы, дети сидели на столе и болтали ногами. А тётя Лиза и Чехонат сидели сбоку на лавке. Они кушали хлеб и смотрели на нас.

Жизнь двух семей была благополучной... Но это благополучие будет уничтожено жуткой катастрофой, которую создала моя мать.

По другую сторону переулка, на углу жила тётя Нюра Гаврилина с тремя детьми и нянькой. Если не каждый день, то через день, два у неё в доме была вечером пьянка. Занавесками тётя Нюра нарочно не закрывала окна. И мы, дети и взрослые люди стояли на улице и смотрели на три окна, за которыми с уханьем, криками и хохотом скакали и прыгали мужики и бабы (часто голые), пели песни и орали обязательные маты. Её средний сын Колька, мой ровесник, боялся выходить на улицу и в переулок. У него из носа постоянно текли сопли, и он вытирал их движением предплечья обеих рук...одной рукой, потом – другой. Он каждый день стоял во дворе, опираясь руками на высокие ворота, и смотрел в переулок, на меня, где я играл с Девыми и другими мальчиками.

Сашка, чтобы посмешить меня, подбегал к воротам и обоссывал их. Колька испуганно отступал к крыльцу. Прятался за дверь и оттуда кричал:

– Дурак! Дурак!

Я обожаю игры. Но если мимо нас проходила женщина, то я тотчас прекращал игру и начинал смотреть на неё. Уже в три года я слышал от брата крик:

– Перестань смотреть на баб! Над тобой смеются люди!

Надо мной никто не смеялся.

Если я находился на деревянной площадке перед магазином, у входа в который всегда стояли женщины, то я начинал смотреть на них. Они замечали.

– Смотрите, смотрите, как смотрит.

– Как опытный смотрит.

Иногда ко мне подходили женщины, наклонялись и спрашивали:

– Мальчик, ты почему так смотришь?

Я не знал. Уже в три года я заметил, потому что много раз видел, что те женщины, которые держали руки перед собой, за кисти – очень заботливые мамы. А в восемь... девять лет я понял, почему хорошие мамы так держали свои руки. Потому что ребёнок, хоть и лёгкий, но рука мамы уставала, и мама поддерживала её правой рукой за кисть, сцепляла руки. Из этого движения у мамы появлялась привычка.

На нашем отрезке улицы ни у одной женщины такой привычки не было, хотя у всех были дети. Женщины держали руки в позиции «смирно» или скрещёнными под грудью, по-мужски.

Мать привела меня в баню, в женское отделение. И я впервые увидел голых девушек и молодых женщин. Я начал внимательно рассматривать их. Мне было три с половиной года. Девушки ойкали, иные даже прикрывали ладонями и шайками свои лобки и смеялись. Старуха с растянутыми до пояса грудями плеснула на меня горсть воды и, смеясь, басом сказала:

– У! Бабник будет!

Молодая бабёнка, про которую бабы на лавке говорили: «Клейма ставить негде!» закричала с надрывом:

– Ты чо его привела сюда?! Он же всё понимает!
Я ничего не понимал.

Стихи я начал сочинять в три года, осенью.

По улице бежит овечка,

А за огородом течёт речка.

А вот ироничный стих:

За печкой кричит сверчок,

А под печкой лежит папкин харчок.

За «русской печкой», которая не давала тепло, нашёл место сверчок и орал каждый день, а рядом была печка-буржуйка. Так как Матвей ссал и харкал по углам, то мать насыпала золу под печку-буржуйку и приказала ему харкать под печку.

Председатель колхоза Щербатов приказал Матвею подписаться на «партийную» газету «Правда». И нам каждый день почтальонка начала приносить газеты. Мы их рассматривали, раскладывали по комнате, аккуратно и бережно. Мать говорила, поглядывая в окно на улицу:

– А вдруг придут с проверкой из «ПолиНКВД».

Бабы удивлённо осматривали комнату и спрашивали:

– А чо это у вас такое?

На нашем отрезке улицы никто не выписывал газеты. Люди были неграмотные. Вероятно, всеобщая грамотность Советского Союза обошла стороной наше село, где люди мечтали и говорили о выпивке, о выпивке и о выпивке... кроме сплетен.

Газет становилось всё больше и больше. Они мешали нам жить. И мать долго не решалась бросить их в печку, настороженно смотрела в окно, на улицу, о чём-то думала, а потом махнула рукой.

– А разяби их в рот мать!

И все сожгла. А потом каждую новую газету использовала для растопки дров и... подтирки задницы. Во времена Сталина за такие «дела» расстреливали. Порядок был.

Когда мать сидела на своей табуретке, она порой жевала чёрный хлеб. Я всегда подходил к ней, приваливался грудью к её коленке и смотрел, как она ела, или тянулся рукой к куску. Мать сердилась на меня.

– Прям из горла готова вырвать. На! – и она протягивала мне часть куска. (в словах «горла и готова» ударенье на последним слоге. Это деревенский диалект)

А если я говорил:

– Мам, исть хочу.

Она часто вынимала из-за пазухи кусок хлеба. Это была деревенская привычка – согреть хлеб теплом своего тела.

– На! Жри, что мать жрёт!

Я ел хлеб, привалившись грудью к материнскому колену, и чутко слушал мычание нашей коровы.

– Мам, подои корову. Молока хочу.

Мать не обращала внимания на мои слова, но если – а это было очень и очень редко – брат поддерживал меня, то она с глубоким вздохом вставала с табуретки и уходила в землянку доить корову.

Матвей получал на трудодни крупы. Их тогда не продавали в магазинах села. Но пшено, манку, гречку кушали мыши и крысы. А весной я и мать выкидывали не съеденные крысами крупы в речку. Туда же мы выкидывали картошку, морковь, гнилой лук, чеснок и гнилое мясо. Целая, непочатая туша свиньи лежала в сенцах. Весной мать рубила её на куски, всегда ночью, а я таскал куски в вёдра и выкидывал в речку. Выкидывали пшеничную муку, в которой мать обнаруживала помёт мышей.

Мать каждое утро варила для свиньи чугунок картошки. И если я просыпался рано утром, то выхватывал из чугунок картошку, очищал её и ел, не желая есть, но помня, что весь день я буду голодать.

Мать с удовольствием разминала пальцами картошку и куски хлеба, в ведре. Я четырёх-летним мальчиком просил её научить меня варить еду.

– Сам учись, – отвечала мать и тыкала пальцем в сторону дома тёти Нюры или тёти Музы. – Вон Музка, вон Нюрка лупят своих детей, когда они просят еду. А я вот терплю, хоть дозноил ты меня!

– Мам, исть хочу, – требовал я, опираясь грудью о материнское колено.

– Да чо ты такой? Другие дети, как дети, тихие. Не видно, не слышно их. А ты, ненужный, не даёшь мне продыху! Подох бы лучше. Молю бога. А он почему-то не даёт тебе смерти. Я на работе только и отдыхаю от тебя, идивода. Навязался на мою душу.

Я видел, как мать у дверей магазина, рубя воздух сверху вниз ладонью, кричала бабам:

– Тунеяски, лодыри, сидите дома! А я вот мантулю!

И каждое утро она уходила с Матвеем, Колькой и Людкой на «работу». А вернувшись с «работы», она неподвижно сидела на кедровой табуретке, «наработалась». Я кричал:

– Мам, исть!

– Да чо это за выблядок такой? Ни минуты покою.

Один раз в год, осенью, когда мужики закалывали нашу свинью, мать жарила картошку на свином жире. О! С каким бешеным пылом и энергией я бросался к сковородке, когда мать ставила её на стол. Мать торопливо совала мне в левую руку кусок хлеба, чтобы хлеб сдерживал меня. Но я не замечал кусок и бешено работал ложкой, метал в рот горячую картошку, давился, задыхался. Картошка застревала в горле, и я срывался с табуретки и на пределе физических сил бежал два метра до бачка с водой. Пришлѣпывался к бачку, черпал воду ковшом, торопливо пил. И давился водой. И мчался к столу. Мать сокрушѣнно качала головой.

– И чо это за ребѣнок такой, идивод? И кем он вырастит, идиводина? Глаза какие завиду-щие, захлестнуться не может. Только еду на него трачу... Не лезь туда. Ешь на своей стороне.

Я в это время ложкой стлкнувал верхний слой картошки и быстро поедал нижний слой, поджаренный. Я обжигал гортань, пищевод и желудок и метался между бачком и сковородкой.

Мы быстро съедали картошку, и я оставался голодным.

Мне было двадцать лет, и я приехал из города к матери с двумя приятелями. И мать, желая похвастать собой перед парнями, приготовила картофельное пюре, котлеты, суп, кашу. Володя Костюченко ел и говорил мне:

– Ну, и мать у тебя. Повезло... Если бы так готовили в нашей заводской столовой.

Я не сказал ему, что до девятнадцати лет я питался хлебом, маргарином и молоком.

Примерно, два – три раза в год мать готовила пельмени и один раз – блины.

Так как я ел очень быстро, то мать купила мне чашку. Все остальные питались из большой чашки. Они ели медленно. А я торопливо глотал пельмени, задыхался и выскакивал во двор в одних трусах, глотал снег и стоял на снегу босыми ногами, чтобы охладить себя. Но пельменей было мало – одна чашка, и я оставался голодным.

Однажды Сашка Деев подбежал к моему брату на улице и завопил, чтобы все слышали, потому что с ним никто из детей не играл:

– Братка, здорово!

– Какой я тебе брат? Пошѣл отсюда! – свирепо крикнул в ответ Колька и, размахнувшись, ударил Сашку в грудь.

Сашка попятился, и у него на лице появилась плачущая гримаса.

Первого сентября мать дала Кольке горшок с цветком, и брат пошѣл по улице. А мы смотрели на него из-за забора.

Мать уже кричала всюду на улице, у магазина, что её Колька «вумный, начальником будет!»

Да, брат был умный, осторожный и расчётливый. Умел «ставить» себя среди товарищей. Он всегда молчал дома, вёл себя тихо, не играл. И мать говорила мне:

– Видишь, какой Коля вумный мальчик? Его не видно и не слышно. Только ты орёшь. Прямо уши лопаются от твоего крика.

Сашка Иванов, сын служащего дяди Ильи попытался посмеяться над Колькой. Брат повалил Сашку на землю и, лёжа на нём, бил кулаком по его лицу, как наша мать била Матвея. Тётя Зина, мать Сашки, с палкой гонялась за братом и кричала:

– Я тебя, паскуда, в тюрьме сгною!

Все мальчики улицы немедленно подчинились воле брата.

Вероятно, через месяц учительница вызвала нашу мать в школу. Здание школы было чёрным, мрачным и страшным. Эта школа мне всегда напоминала ад, о котором говорили на лавке старушки. Я задрожал от ужаса, когда увидел школу, потому что мать часто меня пугала:

– Вот пойдёшь в школу, там тебя учителька бить будет.

Я смотрел через приоткрытую дверь, как мать сидела за одной партой с Колькой. А сразу после звонка, в присутствии учительницы мать начала хлестать Кольку ладонями, с надрывом в голосе крича:

– Что ж ты, падла, не учишься?!!

И плакала, идя домой и утирая красный нос концом головного платка. А дома она скрутила полотенце и приказала Кольке «делать уроки». Он сел за стол, раскрыл букварь. Мать стояла с правой стороны с полотенцем в руке и следила за его глазами.

– Ты почему не читаешь, сволота паршивая?! – закричала мать страшным криком и нанесла сильный удар по голове любимца.

Он ловко и стремительно нырнул под её руку, выскочил на улицу, и помчался посередине дороги вниз села. А мать скачками бежала за ним с полотенцем и кричала:

– Витька, держи яго! Эй, кто? Держите яго!

В то время учителями в начальной школе были только девушки, окончившие семь классов. Они отработывали в школе два года, уезжали в Томск в педучилище, где получали паспорт. И после окончания училища оставались в городе. А из года в год в начальную школу приходили девушки, которые ничего не понимали в педагогике.

Но у брата была причина другая. Он был идиот (Три степени дебильности: олигофрен, идиот и кретин), потому что его отец был алкоголиком. Брат «ставил» себя великолепно. Его уважали подростки, и даже парни. А учительницы боялись Кольку, и выбрали его старостой начальной школы

Однажды мы шли по улице, и перед двухэтажным домом, в котором жили служащие, мы увидели очень строгую учительницу и её мужа, милиционера. Колька отвернул в сторону лицо и прошёл мимо учительницы. Она громко крикнула:

– Гудковский, ты почему не здороваешься со мной?

Колька резко повернулся к ней и, исподлобья глядя на неё, свирепо спросил:

– А ты кто такая?

Милиционер... а я давно заметил, что он, как и Матвей, постоянно боролся за власть в семье... громко и с удовольствием рассмеялся.

Сочинять стихи я начал в три года. Мать запрещала:

– Прекрати коверкать язык!

Но я продолжал декламировать свои первые стихи. И тогда мать начала смеяться надо мной в присутствии баб и показывать на меня пальцем.

– Смотрите, дурак изводённый. Говорит на нерусском языке. А видно – идивот.

Бабы смеялись, и я затихал.

В четыре года я начал сочинять музыкальные мотивы, но мать вновь нашла способ заткнуть мне рот. А вот когда я трёх – четырёхлетним ребёнком пародировал поведение Матвея, чтобы мать похвалила меня – она смеялась и хлопала в ладоши. Я ходил перед матерью, согнувшись и закинув руки на жопу, кричал, почёсывал задницу, плевал на клочок бумаги, бросал в печку и кричал:

– Не хай!

Я слышал его злобное, угрожающее ворчание, но рядом со мной была моя мать – защитница. И я не обращал на него внимания.

Мне было четыре года и десять месяцев, когда мать взяла меня с собой на покос. Мать накосила траву в болотистой низине под высоким берегом. И чтобы добраться до покоса, нужно было долго идти по болоту. Мать несла на себе Кольку, а Матвей нёс меня. Я смотрел только на мать. Она шла по пояс в жиже, осторожно ступая ногами, чтобы не запнуться о коряги, о болотную траву. Я очень боялся, что мать могла утонуть. Она не умела плавать, а я – уже умел.

Мать остановилась и сказала Матвею:

– Я пойду сюда, а ты там собери сено.

Я вывернул голову и безотрывно смотрел, как она уходила по болоту. И я запомнил чувство тревоги за мать. Но я её никогда не слушался, как и брат.

Кочки были высокие, а на них лежало сухое сено. Между кочками была жижа. Матвей быстро вынес на поляну из кустов грабли и вилы. Грабли он протянул мне.

– Давай, Витька, работай. Все должны работать.

И этот ублюдок начал подгонять меня вилами. Тыкал в спину. И шёл за мной, когда я, торопясь и падая между кочками, да ещё босоногий, сгребал сено в кучки.

Потом Матвей побросал мои кучки в более крупные кучки, ушёл в кусты и лёг там спать.

Я обрадовался, когда раздался пронзительный крик матери:

– Ты чо наработал, лодырь проклятый?! Разъяби тебя в рот мать!

– Это не я! – откликнулся в кустах Матвей. – Это Витька!

Озлоблённая мать разбросала кучки по сторонам, а успокоившись, собрала их в большие копы.

Матвей мстил матери очень подло, впрочем, как и все подкаблучники.

Осенью мать сказала ему, чтобы он снял шкуру с убитой свиньи, чтобы потом сдать её в сельпо и получить за шкуру хорошие деньги.

Я сидел на корточках рядом с головой свиньи и смотрел, как Матвей злобно морщась, небрежно и быстро начал подрезать шкуру ножом. И нарочно проткнул её. Мать молчала, и тогда он ещё раз порезал шкуру. И мать со вздохом сказала:

– Ладно. Не надо.

И он сел за печку-буржуйку, и надвинул на лицо замасленную шапку.

В конце лета приехал дядя Митя, младший брат матери. Мы тогда копали картошку.

– О, какое у тебя хозяйство! – восхищённо воскликнул он, осматривая курятник во дворе. – Зачем тебе так много курей? Ты отдай их мне. Тебе и жить проще будет.

Он сказал матери, что кушал четыре раза в день. И мать начала варить для него еду. И я в первый раз увидел котлеты, борщи. Мы с братом копали картошку. Матвей, как всегда, прятался. А дядя Митя, нажравшись, немедленно уходил гулять по улицам.

Я проснулся ночью, услышал куриный крик. Вышел во двор. Дядя Митя ползал по низкому курятнику, хватал курей и совал их в мешок. Он забрал и увёз всех наших курей и петуха.

Зимой в лютый мороз мы приехали в город Томск за белым хлебом – мать, я и Колька. Мне тогда было пять лет. На привокзальной площади в угловом пятиэтажном доме был хлебный магазин. Когда мы вошли в него, мать сразу прижала меня и брата к батарее отопления. Сняла с нас валенки и приказала, чтобы мы прикладывали пятки к батарее. Едва я повернулся

спиной к батарее отопления, как сразу увидел сверху, потому что был маленьким, прилавок, на котором лежали белые булки хлеба, батоны, булочки, пирожки, а на стене висели огромные связки баранок – больших и маленьких. Я в первый раз увидел белый хлеб, баранки, булочки и пирожки. И куда бы я ни смотрел – всюду были батоны и белые булки хлеба и висели баранки.

Сбоку ко мне подошла мать и протянула толстый пирожок из белой муки. Я медленно, потому что замёрз, закусил его, раздавил зубами. Из пирожка потекло повидло. И я торопливо облизывал свои чёрные от грязи руки и непрерывно смотрел на белый хлеб, как на чудо.

В магазине не было очереди. А у нас в райцентре в магазинах люди страшно давились в очередях, матерились, стояли с пяти утра до позднего вечера, чтобы купить чёрный хлеб, в котором всегда были куски шпаката, кирпичинки, гравий, комки грязи. Хлеб всегда был недопеченный или перепеченный.

Мать положила в наволочку и в кирзовую сумку четыре булки хлеба и два батона, а на себя нацепила баранки, две связки – крест на крест. И мы пошли по городу, где было много людей, но они вели себя очень вежливо, не матерились и не смеялись над смешным видом матери. Горожане улыбались. Улыбки на лицах людей я увидел в первый раз в жизни... в пять лет, в Томске. В нашем огромном селе никто никогда не улыбался.

Когда мы вернулись в село, то автобус шёл по нашей улице. Мы могли выйти из него напротив нашего домика, но мать проехала до центра села. Она шла неторопливо по улицам села, неся на себе, как пулемётные ленты, баранки. Все останавливались и смотрели на баранки. На нашей улице было много детей. Все бабы сидели дома в прямом смысле слова – не занимались детьми, глядели в окна на улицу с позднего утра до вечера. А вечером выходили на улицу, чтобы до глубокой ночи сидеть на лавках.

– День прошёл, и ладно, – так говорили бабы, так говорила наша мать, так шло строительство коммунизма.

Бабам нечего было делать.

Мать пряталась каждый день на другом конце села, на Красной горке, чтобы не скучать дома. Великая амбициозность нашей матери была причиной катастрофы двух семей. Она не «лаялась» с бабами на Красной горке, потому что те бабы признавали её авторитет. А на новом месте жительства мать не смогла утвердиться. Вот – «казус Белли»... «Коня на скаку остановит. В горящую избу войдёт» – это наша мать.

Толчком к началу военных действий послужило маленькое происшествие.

Я проснулся от громкого крика матери. И, не видя её, выскочил во двор, увидел, как она, крича, убегала по улице. А в комнате стояла тётя Тася с топором в руках.

Когда мать вернулась во двор с людьми, тётя Тася, потрясая топором над своей головой, сказала, что она вырвала топор из рук матери, которая пыталась зарубить тётю Тасю.

Мать рассказала нашей семье и бабам другое... Тётя Тася попросила у матери десять рублей. Мать дала ей деньги, а через месяц потребовала от соседки вернуть долг. А так как тётя Тася не спешила отдать деньги, то мать часто напоминала ей о них. Соседка пришла к нам поздно вечером, положила деньги на стол и ударила мать по щеке. А потом схватила топор.

Рядом с тётей Тасей жила не молодая учительница. Она пыталась по просьбе матери научить моего брата читать, писать и считать цифры. Не смогла. Вскоре она получила, как и все деревенские люди, паспорт (Царствие Божие Никите Сергеевичу Хрущову за то, что освободил народ от рабства!), продала дом, чтобы уехать в город. Пригласила к себе тётю Тасю и мать и подарила им пустяковые вещи. Тётя Тася быстро осматривала всё в комнате, подбегала к вещам и говорила:

– Вот это подари. И это подари.

Получила стул, комод, половые коврики, дорожки. Мать стояла неподвижно и смотрела на учительницу.

По нашему отрезку улицы... потому что здесь был огромный магазин, в тридцати взрослых шагах от нашего домика... каждый день по многу раз проходил Коля – дурачок. Ему тогда было лет шестнадцать. Он шёл по улице, выставив вперёд левую руку, показывая всем наручные часы. Люди не знали, как по таким часам определить время. Иные бабы привозили их из Томска, чтобы похвастать покупкой перед соседками, но не могли объяснить людям: как пользоваться наручными часами. Бабы, смеясь, спрашивали Колю-дурачка:

– Коля, скажи время?

Он останавливался, долго смотрел на циферблат и солидно отвечал:

– Много.

– А сколько?

– Не скажу, нарочно.

Он так же каждый день ходил по улице то с книгой, то с газетой в руках, а на берегу Оби раскрывал их и шевелил губами. Бабы знали, что он неграмотный и, смеясь, спрашивали:

– Коля, а что там написано? Почитай нам.

– Не буду, не хочу. Желанья нет.

– А книга интересная?

– Да, читаю день и ночь.

Мы дети кричали ему:

– Коля – дурачок, ты неграмотный! Читать не умеешь. Мать твоя сказала!

– Она врёт! – В ярости кричал Коля. – Я прочитал все книги!

– А часы ты носишь для форса!

– Нет! – вопил Коля. – Я знаю сколько время, а вам, гадам, не скажу нарочно!

Он плакал и топал ногами, а бабы говорили нам:

– Перестаньте издеваться. Не хорошо. Он тронутый умом. А вы смеётесь.

Через два года он ушёл в Армию. Вернулся в село, спустя восемь лет, и начал работать в милиции в звании младшего лейтенанта. Проходил по нашей улице вечером, когда на лавочках было много людей. Но не отвечал на приветствия баб и мужиков, глядел прямо перед собой. А в правой руке, выставленной вперёд, он всегда нёс офицерскую полевую сумку.

Я увижу его «мурло» в четырнадцать лет, в милиции. Он, конечно, не напомним мне мой детский крик: «Коля — дурачок, почитай книгу! Коля- дурачок, скажи время!» Но покажет мне, «где раки зимуют».

Я хорошо помню, что в четыре и пять лет, когда мать сидела на табуретке, я ходил вокруг неё, обнимал её со всех сторон. А потом приваливался грудью к её колену и смотрел в её лицо, трогал его пальцами. Брат и сестра никогда её не обнимали и не подходили к ней. Мать часто говорила:

– Вот Колю люблю. Люду люблю. А ты не нужен мне, не нужен. Иди вон к Матвею, выблядок. Ты не мой сын. Молю Бога, чтобы ты подох.

Я каждый день слышал эти слова, порой каждый час. Я каждый день плакал и ненавидел брата и сестру. А мать, недовольная не послушанием старшего сына, говорила:

– Вот Колю сдам в детский дом, а Витю буду любить.

Брат с криком бросался на меня драться, и мы, крича и воя, остервенело дрались. Мать хлопала в ладоши и кричала:

– И чо вас, гады, мир не берёт!?

А я уже в четыре года ходил с матерью в кино на детские сеансы. И обратил внимание на то, что матери в кинофильмах очень хорошо относились к своим детям, не орали на них матом. И мужики вели себя по-городскому, вежливо.

В центре села и в клубе было много девушек и женщин, и я пристально рассматривал их.

Когда добрая учительница уехала из села, то в её дом вселилась семья из четырёх человек. Немцы. Родители были служащими, молодыми. Старшей девочке, Лилии было лет двенадцать, а её брат Костик был мой ровесник.

Лилия была аккуратной девочкой. Она отличалась от хамовитых дочерей тёти Таси, дочерей тёти Нюры и других девочек нашей улицы. У неё была красивая вязаная шапочка с кисточкой. И когда Лилия бежала по улице, высоко вскидывая колени, её кисточка трепетала на её голове. Девочка боялась проходить шагом мимо трёх домов, в которых жили мальчики. Она мчалась по тротуару на пределе физических сил. Глаза её были круглыми от страха и ужаса.

Рядом с домом тёти Нюры, вплотную к нему, стоял второй дом. И в нём жила старуха по кличке «Ведьма», её взрослая дочь и рыжая девочка. Моя ровесница. Она никогда не выходила на улицу, где играли в дикие игры мальчики и девочки.

Глава 3

Я непрерывно кричал и бегал за братом, вцеплялся пальцами в его руки, в плечи, а он отталкивал меня. Его лицо было испуганным и растерянным. Мы бегали по двору из стороны в сторону, в котором стояли шесть – семь мужиков. И сосед дядя Илья Иванов, поддёргивая локтями штаны на худом теле, тонким и строгим голосом время от времени кричал:

– Гудковская, выйди, поговорим!

Фамилия моей матери была «Рутковская», но по метрическому свидетельству. А в паспорте была другая фамилия – «Гудковская». Само написание букв говорило о том, что изменение фамилии в паспортном отделе было нарочным, как и изменение национальности. В метрике мать была «полькой», а в паспорте «русской». Но неграмотной матери было всё равно: полька она или русская. Но может быть, её сверхамбициозность была связана с национальностью?

Мой непрерывный крик смущал мужиков, и они стояли неподвижно в нашем дворе. А на другой стороне улицы, на возвышенной стороне, на тротуаре стояли мужики и бабы, человек пятнадцать- двадцать и смотрели на наш домик.

Вдруг окно распахнулось, и я увидел ноги матери в коричневых чулках. Она стояла на табуретке. Неуклюже она развернулась задом к окну, присела, выставила задницу в окно. Дядя Илья тонко засмеялся. Мой брат мощно рванулся в огород. Но я, ничего не понимая, продолжая кричать, повис у него на плечах. И мы остановились сбоку от толпы мужиков, и увидели... Наша мать неторопливо сняла трусы, сильнее выставила задницу в окно, похлопала рукой по голой жопе и крикнула:

– Нате нюхайте!

Мужики засмеялись, качая головами. А мать прыгнула с табуретки и, смеясь, захлопнула створки окна и задёрнула занавески. Мужики начали покидать наш двор. И кто-то сказал мне:

– Твоя мать бьёт наших баб.

Матвей с выпученными от страха глазами, прятался в переулке, осторожно выглядывал из-за угла дома тёти Нюры. Мужики подошли к Матвею, а я уже был рядом с ними.

– Ты чо, Матвей, распустил бабу? Мужик ты или нет? Дай ей мялку.

Матвей, сильно горбаться и дрожа руками, согласно закивал головой.

– Да, да. Я ей покажу.

И он мелкими шагками, зажав руки на жопе, побежал домой. Я опередил его, вбежал в комнату первым и сильно припечатался к ногам матери, а потом запрокинул голову, чтобы смотреть ей в лицо. Мать нахмурилась и угрожающим голосом спросила Матвея:

– Ты чего такой?

Матвей вскинул над головой дрожавшие руки и тонким голосом крикнул:

– Валька, прекрати! Я ведь мялку дам!

– Ах, ты сволочь. Вошь ты паскудная. Настрополили! – сказала зло мать и бросилась вперёд.

Она вонзила ударом сверху вниз растопыренные пальцы в лицо Матвея и рванула их вниз. Матвей заверещал и закрыл лицо руками. А мать начала бить его кулаками, а потом – ногами. Она выгнала его во двор и прокричала:

– Покажи своё ебло тем, кто тебя настрополил!

И с этого дня для меня и брата начался дикий кошмар, который продолжался более года. Каждый день мать выскакивала на улицу и весь день и даже в темноте лаяла соседок. И если к ней подходили женщины и просили её успокоиться, то мать обрушивала на них свою матер-

щину. И женщины убегали. К нам в домик приходили женщины с Красной горки и говорили, что «дело кончится плохо».

– Валька, пожалей своих детей.

– Да на хер они мне сдались! – кричала мать. – Пускай все подохнут! А я не унижусь перед этой сволотой! Они меня не стоят! Дозноили меня!

И она грозила кулаком в угол, где висела икона Божьей Матери и Сына.

(Только после её смерти я узнал, что она родилась в семье польского шляхтича)

Когда мать уходила каждое утро на «работу», она кричала соседкам:

– Тунеяски, под окнами сидите, а я мантулю!

Соседки спросили у её подруги тёти Лизы: где она мантулит?...И та «предала» нашу мать: сказала, что она никогда в свои сорок пять лет не работала. Соседки начали смеяться над матерью, а мать начала «лаяться» и бить их. Но тогда я ничего не знал и не понимал.

Соседкам было скучно, и они нарочно злили мать. Ходили от дома тёти Сони к дому тёти Таси и колотили ложками по кастрюлям. Мать тотчас выскакивала на улицу и начинала «лаяться». А бабы смеялись и садились на лавочку и ритмично били ложками по кастрюлям.

Наша мать орала на пределе голосовых связок с утра до глубокой ночи.

Брат просыпался рано утром и немедленно уходил из дома, а возвращался домой поздним вечером. Мать запрещала мне играть с детьми своих врагов, и я сидел дома, и каждый день слушал вопли матери. Я обоссывался от ужаса, когда мать начинала орать на улице. Я не мог привыкнуть к её крикам. Это был АД! Но он был пустяком в сравнении с тем, что произошло через год, когда мне было шесть лет.

Зимой я увидел, как мать дралась с тётёй Зиной Ивановой, женой дяди Ильи, а так же с тётёй Тасей и тётёй Соней. Дядя Илья стоял спиной к воротам своего двора, поддёргивал локтями штаны – это движение у него было привычкой – и тонко кричал:

– Валя, прекрати, что ты творишь?! Я вызову милицию!

А мать, как каратистка, широко расставив ноги, с прямой спиной вонзала ногти сверху вниз в головы соседок, рвала их волосы. И когда соседки разбежались, она оживлённая и радостная, грозила им кулаком и кричала:

– Я вам отмешшу!

Потом тётя Зина долго собирала волосы на снегу и кричала, что «посадит» нашу мать.

На следующий день к нам пришли два милиционера и капитан Сивоха, мягкий, очень вежливый, но строгий мужчина.

Брат убежал из дома – как обычно – рано утром. А меня и Матвея мать выставила во двор после бегства брата, закрыла входную дверь на большой крючок и забралась с Людкой под кровать. Там она и находилась с утра и до вечера.

Сивоха вежливо постучал сгибом указательного пальца по двери.

– Гражданка Гудковская, откройте.

Матвей, дрожа руками, схватил пилу и указал мне на бревно, что лежало на козлах. И мы начали пилить бревно. Из холодной комнаты вышел Сивоха, долго смотрел на нас, потом приказал Матвею стучать в дверь. Матвей постучал кулаком, крикнул:

– Валя, открой!

Милиционеры стучали пальцами в окна, ходили по двору, курили папиросы. А вечером ушли. Милиция пощадила нашу мать из-за нас, троих детей. А мать ничего не поняла. В тот же вечер, торжествующе смеясь, она грозила кулаком божьей Матери и Сыну и кричала:

– Я вам отмешшу!

Когда мать «лаялась», то вся наша улица заполнялась людьми. Они стояли и смотрели на мать. Матвей, сильно горбятся, убегал зимой и летом по огороду под берег реки и уходил в лес или в центр села. А брат появлялся в нашем доме только ночью, а рано утром – исчезал.

А мать воевала каждый день!

Весной ей дали пять суток ареста.

Она вернулась домой весёлая и энергичная. Погрозила кулаком Божьей Матери.

– Я вам отмешшу!

Ей дали десять суток... И она работала на стройке. В рабочий день приходила домой, притихшая. Но едва закончился срок наказания, мать вновь погрозила иконе кулаком.

– Я вам отмешшу

Летом она получила пятнадцать суток. Вернулась домой и вновь погрозила иконе.

– Я вам отмешшу!

Я мечтал о смерти. Я стонал, когда утром просыпался, и понимал, что я живой. И брат, просыпаясь, говорил: «Хоть бы не проснуться».

Тётя Нюра сказала матери:

– Валька, будь осторожней. На «зону» попадёшь.

– Да плевать я хотела!

Красногорские женщины тоже ей говорили, что она попадёт в тюрьму. А мать сильно стучала кулаком в свою грудь и со стоном кричала:

– Да как вы не можете понять, что они не стоят меня! Не могу я унижаться перед ними!

– Пожалей детей...

– Да пускай они все подохнут на хер! Не нужны они мне!

И мать каждый день «лаялась» по многу часов на улице и нападала с дракой на баб. И они вновь собирали волосы и уходили в милицию.

В начале декабря 1957 года наша мать начала прятаться в лесу. Весь день находилась там. Я приходил к ней в лес. Она сидела на корточках на опушке леса, высматривала дорогу и переулочок. А дома у нас с утра до вечера сидели милиционеры, курили папиросы, плевали на пол и смотрели в окно.

Я ждал мать на улице. Она поздно вечером возвращалась домой. Матвей из-за печки тихо говорил:

– Валька, отступись от них.

– Я им отмешшу!

– Посодют тебя.

– Ничего мне не будет, – задорно отвечала мать.

И рано утром она убегала в лес.

Поздно вечером я гонял палкой по улице ледышку, ждал мать. А перед нашим домиком прохаживался милиционер в гражданской одежде. Из сумрачной улицы вышла наша мать. Она шла очень быстро. Милиционер метнулся к ней и показал свою книжку. И мать, не сбавляя быстроту шагов, прошла мимо домика, опустив низко голову. Меня она, конечно, не заметила. Мать шла настолько быстро, что милиционер бежал за ней по улице.

Когда я сказал Матвею и Кольке, что нашу мать арестовал «мильтон», они приняли мои слова равнодушно, потому что не любили её. И она им давно надоела своими криками и драками. А я был в ужасе.

– Ну, теперь всё, – сказала тётя Нюра. – Пойдёт на «зону».

Глава 4

Во время войны баб, тётя Тася переманила на свою сторону тётю Лизу, которая была давней подругой нашей матери, переманила едой. И вся семья тёти Лизы, кроме Чехоната, ходила кушать к нашей соседке. Тётя Лиза, идя по тротуару, улыбалась мне, как могла улыбаться хорошая мама своему сыну. А Сашка кричал что-то оскорбительное мне и моей матери. Ему было тогда десять лет.

Мать находилась в Комнате Предварительного Заключение до суда. Она потребовала от Матвея принести ей в «КПЗ» младшую дочь, которой тогда было три года.

Мать всегда довольствовалась куском хлеба, а заключённых кормили три раза в день. Голодной она не была. Но по приказу матери Матвей приносил ей полный бидон – три литра – супа! Суп варила тётя Нюра, беря из подполья нашу картошку, и варила для своей семьи. Приглашала Кольку и меня. Колька ходил кушать, а я сидел дома и ел один хлеб. Я всех страшно боялся, боялся людей, потому что мать нарочно запугала меня «дядями» и «тётями».

Тётя Нюра кормила свинью, давала сено и поило корове, доила её, а часть молока забирала себе за труд. Матвей ничего не делал дома. Он уже не сидел за печкой, сидел за столом. И начал покрикивать на меня и на брата.

Я оцепенел от ужаса и мысленно видел только мать. В комнате каждый день была могильная тишина. Матвей не только харкал по углам, но и ссал и срал

Почему-то мать выходила во двор милиции только вечером, в сопровождении надзирателя. Я, обливаясь слезами, на пределе сил бросался к ней. Она отшвыривала меня и с надрывом в голосе спрашивала Матвея:

– Где Коля? Почему он не приходит?

– Не пошёл. А я говорил ему.

– Скажи снова. Душа не на месте!

Ведя войну с бабами, она не замечала Кольку, жила только войной.

Мать хватала меня за воротник пальтишко и кричала в лицо:

– Не смей, падаль, ёб твою в рот мать, выблядок, играть с Деевыми, Уразовыми, Ивановыми! Не смей!

Даже сидя в КПЗ мать жила только войной. Брат не приходил в милицейский двор на встречу с матерью. И она каждый вечер кричала душераздирающим голосом:

– Где Коля?! Почему он не пришёл?!

Конечно, опытные бабы сказали матери, что если она окажется беременной, то суд мог пощадить её и отпустить на волю. И мать несколько раз затаскивала – в прямом смысле слова – Матвея за распахнутую сторону ворот. А меня гнала прочь. Надзиратель стоял в десяти шагах от матери, смотрел и негромко смеялся.

– Ну, давай, давай, – говорила она Матвею.

Но он ничего не мог, и мать злилась и уходила в КПЗ. Мать никогда не интересовалась сексом. Она была мужиком.

На следующий год, весной состоялся суд.

Тётя Нюра пригласила Матвея, брата и меня в свой дом и рассказала нам о том, что происходило на суде. Тётя Лиза выступила на суде, как свидетель, потому что сама так хотела, потому что расплачивалась с тётей Тасей и с тётей Соней за еду. Вероятно, она сказала, что творила наша мать на улице. Но тётя Лиза была подругой матери. И мать закричала ей в ответ:

– Лизка, я ещё не приду из тюрьмы, а ты подохнешь. А твои дети будут развеяны по миру!

Да, тётя Лиза умрёт в октябре, а её дети будут отправлены в разные детские дома.

Милиция запретила Матвею приходить на свидание с матерью, передавать суп. И тётя Нюра перестала варить супы, кормить свинью, корову и доить её. И скотина начала выть,

потому что Матвей не собирался её кормить. Он весь день спал на кровати или сидел за столом и выстругивал палочки самодельным ножом с очень узким лезвием. Это был его единственный талант.

Началась распутица, и автомобильная связь с городом прекратилась, поэтому все осуждённые находились в КПЗ. Осуждённых должен был увезти в город пароход.

Примерно, в середине апреля прошла шуга, и река очистилась ото льда.

К нам в домик пришёл милиционер и резким, властным голосом сказал Матвею, зажимая нос пальцами, потому что весь домик был обосран Матвеем:

– Завтра, в первой половине дня придёт пароход. Приди на пристань. Получишь от меня свою дочь. И не кричать, не махать руками. Стоять на одном месте.

Я пришёл с Матвеем ранним утром на пристань. Мы встали на бугор на берегу. А внизу были широкие сходни, которые вели на дебаркадер. Матвей стоял справа от меня. Мы смотрели вперёд, на ворота пристани. За нашей спиной, метрах в двадцати был высокий забор из досок, который тянулся метра на два за обрывом берега, нависал над пустотой. Дело в том, что начальник пристани много лет вёл борьбу с народом, не показываясь народу. Любой пароход или теплоход, идя «снизу» или спускаясь по реке «сверху» и, разворачиваясь, давал долгий сигнал. Сигнал могли слышать только те сельчане, кто жил в нижней части села. Они и бежали на пределе физических сил по нашей улице – мужики и бабы, девки и парни, и маленькие дети. Потому что все знали, что на пароходах можно было купить пиво, вино, водку, крупы, белый хлеб, конфеты, пряники и сахар для браги и самогона. Да и сами пароходы и теплоходы были кусочками другой, красивой жизни. Но на пути огромной толпы людей вставал крепкий забор. Мужики, девки и парни с ходу бросались на него и перелезали на другую сторону. Вскоре по верху забора была протянута колючая проволока. Но рядом был «чермет», где валялось различное железо. И мужики ночью проламывали в заборе огромные дыры. А утром плотники ремонтировали забор. И толпа людей вынуждена была, матерно «лаясь», бежать вокруг квартала. Но ворота на пристань дежурные закрывали в то время, когда приходил пароход. А сами прятались на дебаркадере или в складе и выглядывали оттуда. На пристань пропускали только тех, кто купил билет на пароход. Разгорячённый долгим бегом народ раскачивал ворота или бревном ломал их и мчался вперёд, к пароходам.

Мой брат стоял за забором и осторожно заглядывал в дыру, смотрел в нашу сторону.

Пароход пришёл «снизу», из Томска, тихо, без сигнала. Он шёл медленно, словно осторожно крался по реке.

Я обернулся, чтобы посмотреть на брата и увидел идущий к дебаркадере пароход. А брат, при виде парохода, убежал домой. Ни одного пассажира на пристани не было, кроме праздных смотрельщиков. Да и дежурные с красными повязками стояли на дебаркадере и знаками рук запрещали людям входить на сходни.

Едва прозвучали тихие команды матросам, как на пристань через распахнутые ворота быстро въехала машина с брезентовым верхом. Из кузова начали выпрыгивать женщины в одинаковой одежде. На всех были серые платки, ватники, серые юбки и кирзовые сапоги. Они строились по пять человек в ряд. И этих рядов было, примерно, шесть.

К нам подбежал милиционер, протянул Матвею вопящую Людку и отскочил в сторону, остановился сбоку от нас, наверху сходен.

Прозвучала тихая команда:

– Вперёд.

И женщины в один шаг пошли быстро в нашу сторону, к сходням. Я внимательно и торопливо скользил взглядом по опущенным вниз лицам женщин, искал мать и не находил. Женщины, едва вступили на сходни, как тотчас побежали по ним вниз, на дебаркадер. Скрылись в нём. И прозвучала громкая команда:

– Отдать концы!

Пароход пошёл вперёд. И когда развернулся, чтобы идти «вниз» реки, то зазвучала громкая, весёлая песня.

Матвей шёл впереди меня, уклоняя лицо от рук дочери, которая вырывалась и царапала его, и кричала. Я смотрел на пароход, скользил взглядом по всем его палубам и не догадывался, что все «зечки» должны были находиться в трюме, где не могло быть круглых окошек.

Я шёл по берегу, смотрел на пароход, на котором звучала весёлая песня, и испытывал уже обычное желание умереть. О, если бы я умел думать, то я бы сразу вспомнил, что у нас дома лежала длинная бельевая верёвка. Я бы вспомнил многие рассказы баб о самоубийстве детей, которые – как говорили бабы – по непонятной причине давили самих себя в верёвочной петле. Я бы бегом помчался домой, чтобы немедленно с бельевой верёвкой подняться на чердак и сделать там петлю...

Я вернулся домой, где все углы комнаты были давно заполнены говном Матвея. Зима была очень холодной. И мы, трое детей, замерзали под ворохом одежды, потому что стены нашего домика были дырявые, а печку-буржуйку Матвей не топил. У нас не было дров, потому что мать занималась войной, некогда было заготавливать дрова на зиму. В металлическом бачке замерзала вода и Матвей, боясь, что она могла разорвать металл, топором вырубал лёд, под которым не было воды. С того дня, как наша мать попала в КПЗ, я ел в день только четвертинку плохого хлеба. А мать в КПЗ питалась три раза в сутки и жила в тепле.

Мать после суда приказала Матвею принести ей адреса своих сестёр и братьев, потому что, как она сказала мне, вернувшись с «зоны», при таком-то отце дети подохнут. Она продиктовала письма, чтобы родственники забрали нас, детей. Но её братья и сёстра не приехали к нам, потому что их так воспитала моя бабушка, равнодушная польская красавица.

Будучи маленьким ребёнком, я видел ужасное поведение кошки, а потом и собаки. У нас было много кошек. Одна из них окатилась. И едва котята появились, как кошка ушла к банке с молоком. Мы, дети схватили её, положили на бок и сунули к её животу котят. А она свирепо поцарапала, покусала наши руки и убежала. Мы её вновь поймали, и я подавил пальцами на сосок, но молоко не шло. Котята подошли через два-три часа. Для нас детей – это был ужасный шок. Но точно так же, поступила моя бабушка в отношении своих детей.

Глава 5

Они появились в нашем дворе сразу после того, как я и Матвей вернулись в домик. Мужчина и женщина были похожи друг на друга толстоватыми, гладкими мордovorотами, какие всегда были у служащих. На них были чёрные, стёганные ватники.

Я чувствовал что-то нехорошее в душе и внимательно следил за ними, быстро, бегом перемещаясь по «холодной» комнате. Брат выглядывал из открытого входа в маленькую комнату – избу. Мужчина и женщина старательно отворачивали от меня свои гладкие лица.

Мужчина морщился лицом, тихо сказал:

– Матвей, скажи ему, чтобы он ушёл.

Матвей замахал в мою сторону руками.

– Витька, иди на улицу, играй там.

Но я не уходил. И тогда мужчина опустил руку в правый карман куртки, вынул что-то и, прикрывая от меня левой рукой правую ладонь – я стоял слева от мужчины – протянул её Матвею, говоря:

– Много даю, Матвей. На, держи.

Матвей, скаля зубы, закивал головой, принял горсть монет и, торопливо ведя руки, сунул их в нагрудные карманы гимнастёрки. Он не поднял клапаны карманов, и монеты упали на земляной пол. И я увидел их. А когда на следующий год Толик Уразов после первого класса научил меня считать, я мысленно подсчитал сумму монет, которые получил Матвей: ПЯТЬДЕСЯТ копеек (старыми деньгами). Булка хлеба тогда стоила полтора рубля.

Едва мужчина передал Матвею монеты, как толстоватая женщина выскочила вон из комнаты во двор. Я побежал за ней. Она на бегу выхватила из кармана белую тонкую витую верёвку и большой кусок хлеба.

Наша корова непрерывно мычала, и Матвей выпустил её из землянки. Но корова каждый день продолжала мычать. Матвей её не кормил и не поил. В последнее время она замолчала. Стояла в огороде у забора усадьбы дяди Ильи и смотрела на улицу.

Женщина на бегу протянула корове кусок хлеба, и корова жадно схватила его и подавилась. Согнулась, громко кашлянула, а потом проглотила хлеб. А женщина, торопясь, попыталась завязать верёвку на рогах коровы и не смогла. Её холёные пальцы никогда таким делом не занимались. Она выхватила из другого кармана второй кусок хлеба, показала корове и трусцой побежала на улицу. А корова скачками устремилась за нею, и они скрылись в переулке. Оттуда, из переулка на меня смотрели Деевы, Сашка, Генка и Любка... смеялись и корчили рожи. А из окон дома тёти Нюры смотрела вся её семья.

На улице напротив нашего дома стояла большая группа людей. И они тоже смотрели на Матвея, на наш домик, смеялись, хлопали себя по задницам.

Из переулка выскочила телега и быстро подкатила к нашему дому. Она ещё не остановилась и двое мужиков ещё не спрыгнули на землю, а Матвей выгнал из стайки нашего борова. Его худой живот свисал до земли. Наверное, он предчувствовал, что его убьют. Свиньи самые умные животные на планете. Они умней обезьян и собак.

Боров нарочно падал на землю и не вставал, когда Матвей и мужики били его палками и поленьями. И молчал, потому что долго голодал и долго ревел в стайке. Они трое подняли его на ноги, а потом поволокли на верёвке. Матвей снял калитку. И мужики втянули борова на телегу.

Только они отъехали от нашего двора, как появилась длинная, узкая телега, и с неё спрыгнули молодые парни. Идя по двору, они громко говорили:

– Матвей, у нас всё честно. Мы русские, обманывать не умеем!

В «холодной» комнате в углу была загородка, куда мать высыпала десять мешков пшеницы, полученные Матвеем за трудодни (Это была «зарплата», которую колхоз выдавал один раз в год).

Матвей, торопясь руками, повесил под потолком комнаты на «матку» «безмен». И опять, торопясь, Матвей ведром сыпал пшеницу в подставленный парнями мешок. Наполнял наполовину и подвешивал на «безмен», который весь опускался вертикально. Матвей, щурясь, смотрел на металлическую линейку, словно знал, что это такое. А парни говорили:

– Делай всё честно. Мы русские, не любим врать!

Они то и дело говорили о честности, потому что видели, что я внимательно смотрел на них. Один из них протянул Матвею две белые монеты: десять и пятнадцать копеек. (Повторю: булка чёрного хлеба стоила полтора рубля)

Ближе к вечеру приехали две телеги. И парни с пустыми мешками вбежали в наш домик, сразу метнулись в подпол и начали вытаскивать оттуда картошку. Парни заставляли брата и меня помогать им. Но мы не подошли к люку в подпол. И парни, бегая с мешками, укоряли нас, говоря, что мы ленивые и не послушные, непорядочные дети. Они обещали Матвею принести деньги «завтра», но не принесли.

Я не запомнил лица людей, которые нас грабили, потому что слишком много было кошмарных событий после этого дня.

Этот убудок до того, как нашу мать увезли на пароходе в Томск, покупал каждый день булку чёрного хлеба и делил её на четыре части. А едва мы проводили мать, он перестал покупать хлеб. Я и брат не пытались просить у него еду. Знали, что это бесполезно. Да и чужой он был для нас человек.

Однажды я увидел, как он почти бегом вошёл в магазин. Вскоре выскочил из него, держа руки под гимнастёркой, направился к берегу реки, спустился вниз. Я последовал за ним. И сверху, с берега увидел, как он торопливо совал себе в рот пряники и конфеты. Каждый день он усаживал Людку себе на плечи и уходил вверх по улице. Он уходил кушать к своему старшему брату, о котором я ничего не знал в то время.

Глава 6

Мы, мальчики катались на брёвнах, которые волочили по улице, сплошь покрытой толстым слоем грязи, кони. Возчики сидели верхом на комле длинного ствола, который они привязывали на передней оси разобранной телеги. Мужики дремали, опустив головы. А кони медленно шли по дороге, и порой их копыта скользили на льду, что находился под вязким чернозёмом.

Мы в очередной раз подбежали к бревну, чтобы прокатиться на нём до ближнего перекрёстка улицы и переулка. Я был самым маленьким в группе товарищей моего брата и не успел, как ни старался, бежать быстро по глубокой грязи, чтобы сесть на конец бревна. Все уже сидели. И я забежал вперёд, и сел за спиной возчика.

Две учительницы, молодые девушки, горожанки остановились на тротуаре и закричали возчику:

– Смотрите, смотрите, что у вас за спиной!

Возчик вскинул голову, обернулся и, взмахнув над головой кнутом, спрыгнул с бревна в грязь. Вся группа мальчиков, кроме меня, тотчас убежала в переулок. А я опустил вниз левую ногу, чтобы встать на дорогу, но я сидел высоко на бревне, и нога не коснулась поверхности льда. Я крутанулся на бревне, судорожно вцепился в него руками и ногами, и оказался под бревном. Конь продолжал тянуть подводу, и бревно напоззло на меня и поволокло вперёд по грязи. Даже лёжа на спине, я следил за возчиком, который с поднятым над головой кнутом бросился ко мне. Я завозил ногами, чтобы вскочить, вырваться из-под бревна, но оно продолжало тащить меня.

– Остановите коня! – крикнули девушки.

Конь остановился, и я, увязая руками и ногами в глубокой грязи, быстро вылез из – под бревна и вскочил на ноги. Но левая нога тотчас подкосилась, и я вновь оказался в грязи.

Возчик уехал.

У магазина стояли сельчане – мужики и бабы и смотрели на меня. А я раз за разом вскакивал на ноги и падал в грязь. Заметил, что учительницы осторожно шли ко мне в чистых ботинках. А потом я ощутил, что девушки потянули меня вверх за плечи пиджака, потому что я весь был покрыт грязью. Они поставили меня на ноги. О чём-то поговорили друг с другом и поволокли меня на обочину дороги. И я видел, что их аккуратные городские ботинки утопали в толстом слое грязи.

Девушки знали, где я жил. Они втащили меня в комнату и положили на пол. И тотчас девушки грязными руками выхватили из карманов платочки и прижали их к своим носам. Я тогда не знал, что в комнате было чудовищное зловоние. Потому что Матвей каждый день срал в углы, бросал туда же ободранные туши крыс, которых он продолжал ловить. Наш домик давно превратился в сральню.

– Вы его помойте и посмотрите, что у него с ногами, – сказали девушки.

– Не хай.

Я лежал на полу до тех пор, пока одежда не высохла. Я тогда очень боялся оставаться один. Одиночество пугало меня. И я на следующий день побежал за братом и подростками. В моей ноге была острая боль, и я прыгал на одной правой ноге. Брат вырубил для меня толстую палку. Я ковылял изо всех сил за мальчиками и опирался на палку.

Вскоре я ощутил в паху зуд. Я стянул вниз брюки и трусы и увидел с левой стороны от паха обширную рану и на ней белых червей. Я спросил у Матвея:

– Что это такое?

Он посмотрел, потом взял грязную половую тряпку, что валялась на полу у двери. Отошёл в угол, пощипал на неё и приложил тряпку к моей ране.

– Подержи, пройдёт.

Но боль не проходила. Май был очень жарким, и я начал купаться в реке. И заметил, что боль стала затихать. Но другая беда обрушилась на меня: страх и неуверенность. Примерно, с трёх или четырёх лет я начал замечать, что как только весной минусовая температура сменялась плюсовой, я начинал ощущать слабость во всём теле. Мне трудно было встать на ноги утром. Я даже не мог сидеть. Руки было трудно поднять вверх. И так как мать запрещала кому-либо лежать днём на кровати, то я лежал весь день под кроватью. Дело в том, что половину нашего домика занимала русская печь, которая не давала тепло, а рядом с ней стояла печка – буржуйка. Между кроватью и буржуйкой проход к столу был шириной в полметра. Лежать было негде, только под кроватью.

Печка —буржуйка потому и называлась «буржуйкой», что давала тепло только в то время, когда в ней горели дрова. А едва они сгорали, как в комнате появлялся холод, потому что в углах домика были дыры. И мать затыкала их тряпками.

Мне было пять лет, когда мать привела меня к детскому врачу. Женщина, брезгливо морщась и чуть касаясь меня пальцами, осмотрела мой рот, послушала сердце и сказала, что меня у меня весеннее голодание. Сельская коновалка, конечно, не могла предположить, что ребёнок болел хроническим истощением нервной системы, бессонницей, неврастенией. А то, что я оцепенело рассматривал женщин, всегда и всюду – никого не удивляло. Только брат злился и порой кричал мне:

– Ты чо пялишься на баб, дурак?!

Кроме страха и неуверенности у меня – вскоре у меня появилась потливость. Я сильно вздрагивал, когда рядом со мной кто-то начинал говорить громко или кричал. А среди уличных мальчиков нужно было всегда показывать агрессивность.

Я помню, что в конце мая, когда все наши мальчики и девочки весело бегали по улице с бумажными лентами, я боялся выйти со двора.

Однажды я сидел перед калиткой на корточках и смотрел на землю, а мысленно видел мать. И не заметил, как ко мне подошла Галя Иванова, дочь тёти Зины, моя ровесница. Она протянула мне шоколадную конфету. Я такие конфеты никогда не видел. Я с удовольствием съел конфету, а Галя вдруг начала считать заплатки на моём пиджаке. Они были разного цвета. Мать, когда лепила очередную заплатку, то порой удивлённо говорила:

– Да ты чо, головой в дырки суёшься?

Галя поворачивала меня и пальцем тыкала в каждую заплатку, потом сказала:

– Тридцать четыре, а на воротнике – шесть.

– А это много?

Галя округлила глаза и ответила:

– Это очень много.

Я побежал на речку. Под берегом, снял пиджак и начал рассматривать его, пытаюсь вспомнить, где я рвал свой пиджак. Но вспомнил только то, что уже в пять лет я стыдился весной выбегать на улицу в своём разноцветном пиджаке. А едва солнце начинало припекать, я его сбрасывал и бегал по улицам в трусах.

Я выкинул пиджак в речку. Туда же полетели рваные штаны. И когда я появился в одних трусах среди мальчиков, брат зло дёрнул меня за руку, привёл домой и ткнул пальцем в маленькое настенное зеркало.

– Посмотри, на кого ты похож!

Я увидел свои рёбра, череп, обтянутый кожей.

– Надень майку и не позорься!

В конце мая, когда земля стала сухой, на нашей улице, а чаще – в переулке, под берегом реки, во дворах дети, парни, девки и мужики начали играть в «чику», в «пристенок», в «котёл». Но самой популярной среди людей была игра в «чику». И тут проявился особый талант моего

брата – потрясающая меткость броска свинчаткой. Он вставал перед чертой и сразу бросал вперёд свинцовый кругляш – на стопку монет. И всегда сбивал её. А по правилу игры после такого броска удачливый игрок имел право тотчас бить свинчаткой по монетам. Брат переворачивал все монеты. Стопка вновь составлялась. Брат вновь первым бросал свинчатку и сбивал стопку. По сути, он играл один, а все остальные мальчики и парни ставили раз за разом на кон свои деньги.

Поздним утром Колька приходил в домик с раздутыми от монет карманами брюк, выкладывал свою добычу на стол и перебирал их пальцами. Считать он не умел. Но судя по обилию белых монет, он каждый день зарабатывал от десяти до пятнадцати рублей. Я всегда просил брата

– Купи хлеб.

– Ладно, куплю, – отвечал он и уходил.

А вечером возвращался домой без денег и говорил, что всё проиграл. В 12 лет я узнал от его приятеля Зырянова, что мой брат никогда не проигрывал. А деньги тратил в столовой и в магазинах, где покупал конфеты и пряники. Он хорошо питался и о матери не вспоминал. А я говорил только о матери и мысленно видел только её.

Очень редко брат давал мне копейку для игры, но я часто бил свинчаткой мимо монеты и всегда проигрывал. Тогда впервые я обратил внимание на то, что моя правая рука была слабей левой руки. Потом мать объяснила мне, смеясь, что я родился левшой, а она заставила меня всё делать правой рукой.

– Ох, и смеялась я, когда ты ложку мимо рта проносил.

Каждый день, едва я просыпался, я бежал к магазину, вставал на противоположной стороне дороги и глядел на высокие двери. Дело в том, что мужики, которые выходили из магазина с хлебом, всегда бросали «довески» собакам. Женщины никогда не бросали. Собаки были сытые, не кушали куски хлеба на месте. Схватив «довесок», собака неторопливо бежала по улице. А я тотчас бросался за псиной и кидал в неё земляные комья или кричал, чтобы напугать собаку, чтобы она выронила из зубов хлеб. Два раза мне удавалось отнять «довесок» у собак. Я тут же на месте съедал их.

Но когда я мчался за псинами и метал в них заранее приготовленные камни или палки, то они, поджав хвост, бросались через дырки в огороды.

Брату было девять с половиной лет. Он был гордым мальчиком. Соседки говорили ему, что я стоял перед магазином и бегал за собаками. Он внезапно для меня появлялся сзади или сбоку, сильно толкал меня и за руку вёл домой, говоря:

– Проглот позорный. Только о жратве и думаешь, позорник. Над тобой все смеются.

В этот год я в первый раз в жизни сидел днём или ходил шагом, потому что не было сил. Но если ноги подгибались, и я падал на землю – товарищи брата никогда не ждали меня. Я торопливо дышал, глядя, как они уходили вперёд. А потом рывком вскакивал на ноги и догонял банду шпаны, чтобы вскоре сесть на землю, передохнуть и вновь бежать за мальчиками.

Брат сказал мальчикам, что «внизу» села, на берегу лежали мешки с мукой.

Его товарищи, как, впрочем, и большинство детей села – кушали один раз в сутки, вечером, когда приходили с работы родители. Поэтому вся группа, кроме брата была голодной.

Мешки были сложены штабелями, между которыми были широкие проходы. Мешки сверху укрывал брезент. Сбоку от мешков стояла будка сторожа. Но мы знали, что любой сторож днём и ночью спал. Мы забрались под брезент и начали быстро резать мешки кусками стекла, искать муку. Мы распорол мешков десять, с пшеницей, прежде чем нашли мешки с белой мукой и жёлтой. Белый и жёлтый хлеб никогда не появлялся в магазинах села.

Мы горизонтальными широкими полосами разрезали мешковину и начали торопливо хватать горстями жёлтую муку. Она была сладкой, но быстро забила наши глотки. Мальчики и я хрипели и набирали муку за пазухи, в фуражки и карманы. Потом мы выскочили из-под

брезента и прыгнули под берег реки, чтобы глотнуть воду, так как задыхались. Мы стояли по колено в воде и размачивали в фуражках жёлтую муку. Но она всё равно забивала нам глотки. Мы все были покрыты жёлтой мукой.

Брат стоял на берегу, указывал на нас пальцем и смеялся. Он не пытался кушать муку.

Мы, как свора собак, быстро перемещались по улицам, по переулкам и по берегу реки. В центре села был магазин самообслуживания. За барьером были полки, на которых кое – где лежали консервы «частик». И больше ничего...

Несколько мальчиков входили за барьер и шли к продавцу, в то же время они загораживали от взгляда продавца тех, кто быстро брал консервы и метал их мальчишкам, которые стояли по другую сторону барьера. За один заход мы уносили по пять- шесть банок.

В центре села в двух магазинах стояли шкафчики, а в них были расставлены по полкам детские книжки. Сбоку была прорезь для монет. Мы бросали в щель – так, чтобы звенело – осколки стекла, железки, а потом деловито открывали дверцы и забирали с полок не нужные нам книжки, которые за углом выкидывали в грязь. Всем нравился процесс воровства.

«Чермет» находился на берегу Оби в десяти шагах от забора пристани. Здесь стояли ржавые трактора, локомобили, комбайны без колёс и огромные цистерны.

Кто-то придумал опасную игру. Одна группа мальчиков забиралась в цистерну через люк, который запирался круглой крышкой.

Когда я в первый раз оказался в цистерне, и она покатила, я с трудом сдержал крик от чувства ужаса. Другие мальчики пронзительно вопили. И все мы торопливо бежали вперёд, на стену и помогали себе руками. А вторая группа, которая катила цистерну, хохотала над нами. Потом, испуганные, растрёпанные и ошалевшие – мы вышли из цистерны и начали катать вторую группу. Мы слышали истеричные вопли и смеялись.

А катали цистерну в двух-трёх метрах от высокого берега реки.

В начале жаркого лета на «чермете» собралось двадцать пять – тридцать мальчиков и девочек. Мы быстро разделились на две группы и начали забрасывать друг друга металлическими поршневыми пальцами и любыми железками, которые попадались нам под руку.

Грохот был ужасный, потому что мы все прятались друг от друга за тракторами, комбайнами и бросали, и бросали друг в друга железо. Но к счастью никто не был убит.

Прибежали с улицы женщины и остановили дикую игру, и почему-то начали стыдить девочек. Девочки стояли с опущенными головами...

Глава 7

У тёти Нюры на стене висело одноствольное ружьё, заткнутое тряпкой. Тётя Нюра работала сторожем. А чтобы я и мой брат не трогали оружие, она весной часто грозила – в нашем присутствии в её доме – своим детям:

– Только попробуйте прикоснуться к нему – убью на хер!

И я очень боялся эту грозную женщину, которая, как и моя мать, была похожа на крутого мужика... как, впрочем, матери почти всех моих товарищей. В детстве я знал не менее ста девочек и мальчиков. И знал очень хорошо их матерей потому, что я внимательно смотрел, как они общались с моими товарищами. Не зависимо от образования – а многие из них были служащими – все они походили на мою мать своим поведением в отношении своих детей: РАВНОДУШИЕМ.

Я находился на улице, как внезапно громко хлопнула калитка в переулке. И я увидел, как со двора дома тёти Нюры стремительно выскочили её дети – Шура, Колька и Любка. С очень серьёзными, напряжёнными лицами они вихрем промчались мимо меня в сторону берега реки. А со двора, что-то крича непонятное, прыжками выбежала тётя Нюра с поднятым над головой топором. На ней была застиранная длинная ночная рубашка, которая мешала тёте Нюре делать большие скачки. И соседка поддерживала её вверх левой рукой, мчась за детьми. Они разом прыгнули с обрыва под берег. А тётя Нюра выскочила на него и, глядя в сторону низа реки, сильно погрозила топором, крича:

– Вернётесь! Зарублю на хуй!

В середине лета я играл в переулке, вдруг с грохотом распахнулась дверь «холодной» комнаты дома тёти Нюры, и во двор метнулись один за другим её дети и умчались в огород.

Тётя Нюра в ночной рубашке с ружьём в руках и патронташем в зубах выскочила во двор, бросила ружьё на середину ограды и сделала выстрел. Стремительно, как в кино делали советские солдаты, перезарядила ружьё и вновь пальнула по детям.

Тётя Нюра обожала шумные, многодневные пьянки. И сама плясала и кричала обрывки песен с душевным сильнейшим чувством. И даже плакала во время плясок, а порой – смеялась. Её дети – Шура было десять лет, Кольке – шесть, а Любке – четыре – сидели на широкой кровати, прижившись спиной к стене, кушали чёрный хлеб и смотрели на пляски гостей.

В доме у тёти Нюры была одна кровать, где все спали вместе. Была хорошая печка, стол, шкафчик под потолком и три окна, из которых можно было смотреть в переулок, на улицу, на берег реки и на магазин. Зимой Шура не ходила в школу, как и Сашка Деев, потому что не было зимней одежды. Она весь день сидела у окна, поэтому она видела, что я внимательно смотрел на женщин и на взрослых девушек. Весной Шура сказала мне, что она «харилась» с Сашкой Деевым, что её брат Колька и сестра Любка тоже «харились». И, глядя в упор на меня, Шура попросила:

– Витя, «похарь» меня.

Её брат Колька, сопливый, гундосливый, слабый мальчик тоже весь год сидел перед окном или смотрел через решётку ворот в переулок, где я играл с Деевыми. У него из носа постоянно текли сопли, и он вытирал их движениями двух предплечий, поэтому его рукава одежды были белесыми от соплей.

У Матвея был туберкулёз. Он получал колхозную пенсию – 120 рублей. И все эти деньги тратил на себя и на Людку.

Мать рассказала мне, что однажды осенью, когда земля подмёрзла, но ещё не было снега, Матвей выгнал из «фермы» коров, чтобы гнать стадо на луга. Он сидел на коне. К Матвею подошли «крутые» молодые парни – Гришанин, Канаев и Герасимов и, говоря ему: «Ну, калмык, покажи нам, как калмыки ездить умеют» – в то же время они быстро расстегнули под-

пругу на седле. Быстро ударили палками коня по крупу. Конь вскинул вверх зад, и Матвей вместе с седлом перелетел через его голову и спиной, плашмя упал на мёрзлую землю. Из рта его хлынула кровь. Мать начала ругаться, а парни, смеясь и говоря, что Матвей ездить не умел, пошли лопатить коровье дерьмо, потому что работали скотниками.

С тех пор Матвей начал кашлять кровью, надсадно до посинения лица.

Однажды зимой, после кашля он выплюнул на белый снег красный комочек. Я потрогал его пальцами. Он был твёрдый. Это был кусочек лёгкого. Мать закричала:

– Не трогай! Заразишься, дурак!

То, что произошло ниже, было результатом борьбы за власть между родителями и несовместимостью взглядов на воспитание детей азиата и славянки.

Мы уходили со двора на улицу. Брат шёл впереди, а я – за ним. Нам оставалось дойти до калитки шагов десять, как вдруг за спиной прозвучал голос Матвея:

– Колька, стой,

Я повернулся и увидел Матвея, который быстро шёл от распахнутой двери «холодной» комнаты, неся в правой руке лёгкую табуретку. Мой брат остановился и повернулся к Матвею правым боком. Кольке было около десяти лет. И он уже давно умел кривить губами, хотя наша мать так не кривила губы. Эта гримаса известная. Чем ниже интеллект человека, тем он более чувствителен к таким «знакам». А брат никогда не скрывал своего презрения к Матвею, но только до того, как мать попала в КПЗ. Брат тотчас стал вести себя с Матвеем очень осторожно. Свои деньги он показывал только мне.

Едва пароход увёз нашу мать, Матвей начал покрикивать на Кольку:

– Ну – ка, отойди отсюда... Иди туда... Не вставай здесь!

Мне шестилетнему ребёнку было понятно, что Матвей искал причину, чтобы избить Кольку. Колька чуть морщился лицом, понимая поведение Матвея, но всегда подчинялся его приказам. И всё реже и реже Колька приходил домой.

Я стоял на пути Матвея. Он оттолкнул меня левой рукой, шагнул к Кольке и сразу нанёс удар табуреткой по его голове – горизонтально, справа налево. Брат успел чуть дёрнуть головой, и удар пришёлся ему на висок, сорвал большой кусок кожи. Брат рухнул спиной на землю и затих. Он лежал с закрытыми глазами неподвижно. Я смотрел на него, и меня колотила сильная дрожь. Я дрожал всем телом. Вдруг я вновь обернулся и увидел Матвея. Он бежал от входной двери с металлическим бачком. Ублюдок выплеснул воду на Кольку, и тот сразу открыл глаза. Медленным движением он перевернулся на живот и долго вставал раком на ноги. Встал, повернул голову лицом к Матвею, скривил губы гримасой презрения. И медленным шагом направился к выходу со двора. Он шёл и качался из стороны в сторону, как качались пьяные мужики. Он больше никогда не приходил домой.

Едва Колька покинул двор, как Матвей приказал мне войти в домик. Закрыл входную дверь на крючок и схватил толстую палку, над которой он работал несколько дней. Он начал бить меня палкой, оскалив гнилые зубы и хакая. Я метнулся под стол, который стоял в «холодной» комнате. Матвей рассмеялся и откинул в сторону стол, толкнул меня в угол и вновь начал бить изо всех сил – по голове, по плечам, по рукам, которыми я закрывал голову. Я увидел, что мои пальцы повисли с противоположной стороны ладоней и заверещал от ужаса, не чувствуя боли. Но я продолжал вскидывать руки над головой, защищаясь от ударов палки.

Матвей, тяжело дыша, схватил меня за плечо, сел на табурет и рывками, сильно дёргая мои пальцы, вправил их на место.

– Иди, играй на улице.

И через несколько минут я уже купался в реке, а потом задорно и весело бежал следом за группой мальчиков, искал брата. Он «работал» в «чику». А с правой стороны у него, на виске висел кусок кожи размером, примерно, четыре на пять сантиметров. В конце августа кусок кожи отпал от его головы.

В 1983 году я, находясь в квартире писателя Гартунга, сказал: «В деревне родители жестоко бьют своих детей, в каждом доме». Гартунг замахал руками и крикнул: «Перестань, Виталий! Я прожил в селе Калтай сорок пять лет и ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то бил детей!» Ему было шестьдесят пять лет. Он родился в семье врачей, в поезде. До двадцати лет жил в Саратове. Окончил университет и поехал в Сибирь за романтикой, работал только учителем.

Матвей начал бить меня каждый день палкой. А когда палка вылетала из его руки, он хватал лёгкий табурет. И табуреткой наносил изо всех сил удары по моей голове. И он не убил меня только потому, что я закрывался руками. Он выбивал мне пальцы из суставов, а потом вправлял их на место.

Но чаще я просыпался от страшного удара по животу. Я всегда спал, как многие дети, на животе или на боку. Матвей переворачивал меня на спину, а потом бил палкой по животу. Я, ещё не проснувшись, мчался в сторону двери. Но ублюдок швырял меня в угол и бил непрерывно.

Уже на третий день побоев я увидел под берегом реки столовый нож. В то время столовые ножи имели деревянную рукоятку, которая держалась на тонком металлическом стержне. Этот нож был без деревянной рукоятки.

Я спросил у мальчиков – подростков, которые каждый день сидели на «чермете»:

– Как убить гада?

И мальчик лет четырнадцати, глядя на остров, который все сельчане, не зная, называли «берегом реки», указал пальцем себе на горло.

– Ударь гада ножом сюда, когда он будет спать. Это самое опасное место. Подохнет сразу.

Столовый нож с круглым концом был тупой, как обыкновенная железная полоска. Мальчики осмотрели его, и один из них протянул мне красный кирпич, чтобы я точил нож. У нас на подоконнике лежали два напильника, но я не знал, что это такое?

Я сел за землянкой в огороде и начал точить кончик ножа. Я хотел убить Матвея, забрать у него деньги – а денег у него было много – и купить пряники и конфеты. Но точить тупой нож о кирпич было трудно потому, что боль в пальцах была ужасной. Я терпел и сильно сжимал пальцами стержень ножа и подолгу тёр его конец о кирпич. И тренировал удар – вбивал нож в землю. Я стонал от чувства боли в пальцах потому, что ублюдок выбивал мне пальцы из суставов каждый день. Его это забавляло. Между прочим, эти побои заставили меня приглядеться к мальчикам. И я увидел на их лицах разбитые губы, сломанные носы, кровоподтёки, синяки, я спрашивал:

– Что это у тебя?

– Папка поленом наебнул..

– Мамка доской ёбнула...

Но матери и отцы моих товарищей били своих детей с первых лет жизни. Они привыкли к побоям. А я не привык! И упорно каждый день точил свой нож. Но боль в руках не позволяла мне сильно давить ножом на кирпич. И кончик ножа медленно затачивался. Но Богу было угодно, чтобы я не стал убийцей этого ублюдка.

После очередного избиения палкой, я убежал в огород и ногами начал раскапывать землю, где прятал нож и кирпич. Потом я попытался схватить нож пальцами, но пальцы были растопыренными. Я ногой затолкал на ладонь нож, а второй рукой согнул пальцы на правой руке, чтобы они обхватили стержень ножа. Я придавил согнутые пальцы ногами. Сжал нож, вскинул его в замахе над головой и помчался во двор, чтобы убить ублюдка. Но на моём пути стоял забор, что отделял двор от огорода. А вбежать во двор я мог только сбоку. А сбоку двора висела калитка, которая раньше, когда у нас были куры, закрывала вход в огород. Она висела, привязанная к столбику проволокой. Когда я убежал в огород, я широко распахнул калитку. Сейчас она была закрыта и подперта палкой. А в центре двора стоял Гад и смотрел на улицу. Я

понял, что не смогу быстро ворваться во двор, чтобы вонзить в ублюдка нож, внезапным для него ударом. Он просто убежал бы от меня. И я с размаху налетел на забор. Просунул руку через тальниковые прутья и закричал изо всей силы:

– Матвей, ёбанный ты в рот! Блядь, сука, я убью тебя, как только ты заснёшь!!!

Гад рывком обернулся. Его рот открылся, и вниз потянулась слюна, а его глаза стали круглыми, а его грязные в жёлтом дерьме штаны вмиг потемнели от удара мочи. Он затрясся всем телом, вскинул вверх дрожавшие руки, что-то тонко закричал и метнулся в мою сторону. Я выронил нож и убежал на берег реки. И там я понял, что ублюдок бросился не ко мне, а к входной двери домика. Я вернулся, чтобы подобрать нож, чтобы ночью убить гада. Но ножа на земле не было. А входная дверь была закрыта на крючок.

Я вместе с мальчиками нашей банды приходил днём и ночью к домику, чтобы напугать Матвея. Дверь всегда была закрытой. Мы стучали в окна, кидали кирпичинки в печную трубу. Потом я сказал брату, что когда я вырасту, я посажу гада на собачью цепь, чтобы он жил в собачьей конуре. И мы смеялись. Но Матвей увернулся от такой участи. Он подох страшной смертью через три года.

О том, как гад избивал меня палкой, поленом и табуреткой, как я бросился с ножом в руке, чтобы убить ублюдка, я рассказал гладколицей девушке в парке университета. Она в состоянии дикого ужаса бросилась бежать прочь от меня. Это действительно ужасно, когда шестилетний ребёнок с ножом в руке бросается на своего отца. Но на «тёмной стороне Луны» такое поведение никого не удивило бы.

Глава 8

Я шёл по мелководью и смотрел себе под ноги, потому что искал монеты царской чеканки. Мы, дети, часто находили монеты, потому что река из года в год разрушала берег, и улица за улицей уходила под воду.

И вдруг я увидел впереди свою очаровательную соседку Лилию. Она сидела на мелководье, голая, лицом к реке. А за спиной девушки стояли её молодые родители. Я подошёл к юной девушке и начал её рассматривать. У неё уже сформировались «молочные железы». Черты её необычайно белого тела были очень нежными.

Лилия продолжала смотреть прямо перед собой, её левая щека порозовела. Девушка вытянула руки в стороны и начала похлопывать пальцами по воде. К нам подбежал голый Костик, брат Лилии. Он что-то кричал, махал руками. Он, как и сопливый, гундосливый Колька, сын тёти Нюры, хотел играть со мной. А я зачарованно смотрел на его сестру. Я не обращал внимания на своих ровесниц или на девочек старше меня, которым я очень нравился. Я замечал только девушек и женщин, и замирал, когда смотрел на них. Я не мог удивляться своему поведению в шесть лет, потому что я не умел думать. Я ничего не хотел получить от женщин. Я ничего не ощущал в душе, когда смотрел зачарованно на их лица, на их руки. Возможно, я искал в каждой женщине маму, которая могла бы полюбить меня.

Наверное, я очень долго стоял перед очаровательной девушкой, и её родители предложили мне прийти к ним вечером. Я обошёл Лилию и направился дальше по мелководью реки.

Из-за глупости, невежества и равнодушия люди потеряли село, которое было старше города Томска на шесть лет. Наше село – а вначале острог – построили переселенцы, возможно казаки, которые спускались на лодках вниз по реке в 1558 году. Построили на очень высоком берегу. С южной стороны острог прикрывал приток реки. Он вырывался под прямым углом в Обь и приостанавливал её течение, умирал её волны, которые могли бить по берегу широкой реки.

Земля была чрезвычайно плодородной. Всюду был рыхлый, мягкий чернозём, всюду были чистые берёзовые рощи. Огромное количество болот и речушек в верховьях питали собой глубокий приток Оби и порождали его стремительное течение, которое умирало волны великой реки.

Люди начали вырубать берёзовые рощи в верховьях для посева жито – быстро исчезли болота и речушки, а приток стал маленьким ручейком с очень крутыми, высокими берегами. Мы, дети, называли эти берега «мыльными», потому что зимой подняться по крутым склонам наверх, на лыжах было трудно, а порой – невозможно из-за вертикальности подъёма. А спуститься на лыжах вниз сверху решались не многие мальчики.

Только в том месте, где на берегу были берёзовые рощи и где появился острог – под чернозёмом находился песок. Высокий берег был слабым и беззащитным перед волнами реки. Его защищал приток. Люди уничтожили приток, и река начала «поедать» старинное село. Песчаный берег легко размывался во время половодья и летом, когда в горах начинали таять ледники и уровень реки резко поднимался. Вода подступала к мягкому песчаному берегу, и он – даже без ударов волны – огромными кусками падал вниз. Каждый день на реке звучало тяжёлое уханье. Под воду уходили огороды, улицы, дома. И люди отступали в глубину берёзовых рощ, а вода шла за ними четыреста лет. Кладбище переносилось много раз. А в советское время оно оказалось в центре села. А большая церковь была разобрана... А из хорошего церковного леса был построен магазин с очень высокими дверями, с огромными – от пола до потолка – окнами. Это был наш магазин. Мы постоянно играли вокруг него, а в дождливую погоду сидели на высоких деревянных «завалинках». Я не мог просто сидеть, как все мальчики. Я ходил по «завалинкам», осматривал кедровые брёвна. Из них в жаркую погоду выступала смола. Я

соскабливал её ногтями, жевал и ел, чтобы хоть немного утолить свой голод. В шесть лет я уже знал, что наш магазин – это бывшая церковь. Мать рассказала мне то, что она видела в начале тридцатых годов.

В огромной церкви было три священника. Они все были расстреляны «ПолиНКВД» на берегу реки и сброшены в воду.

И вначале советская власть хотела уничтожить церковь по-советски: с речами, с духовым оркестром и, конечно, с активистом, который должен был срубить топором большой крест на головном куполе церкви.

Оркестр играл, когда сельский активист – лодырь и пьяница – полез на крышу церкви. Народ, само собой понятно, безмолвствовал, когда стоял и смотрел на действия советской (нашенской!) власти.

Активист добрался до креста и взмахнул топором. И вдруг покатился по крыше вниз. Он упал на землю с большой высоты и затих на земле. Тотчас затихли речи коммуняк, затихла музыка. Районная власть и музыканты бегом покинули опасное для них место.

И уже никто не пытался разрушить церковь. Люди не подошли к активисту. Он сам дополз до домика. Там кричал, просил еду. Люди приносили хлеб, воду, варёную картошку. Всё ставили на порог...

Вечером я пришёл к соседям. У них в огороде была водоразборная колонка. И к моему приходу родители наполнили три бочки водой. Костик, весело смеясь, скинул трусы и забрался в бочку. Я замаялся, потому что знал от матери, что быть голым – неприлично. Но тоже скинул трусы и запрыгнул во вторую бочку.

Лилия сняла трусы. Это не могло меня заинтересовать, я смотрел в её очаровательное белое лицо. Её родители стояли рядом с бочками, переглядывались и улыбались.

Лилия хорошо бегала, но руки у неё были слабые. И она, обхватив руками края бочки, раз за разом подпрыгивала и не могла поднять себя в бочку. Её смущал мой пристальный взгляд, потому что так, как я смотрел на женщин, начинали смотреть только юноши в пятнадцать – шестнадцать лет, а иные – после двадцати лет.

Она оборачивалась и молча посматривала на родителей. Но они улыбались и не помогали ей. Вскоре Лилия запрыгнула на край бочки и замерла наверху, опираясь о края руками и ногами, потому что большой палец её левой ноги оказался на внешней стороне края бочки. Девушка боялась поднять ногу и тянула её вперёд, а палец держал Лилию на месте. И она стояла над бочкой «раком» и очаровательно краснела щёчками, потому что я снизу смотрел на неё, видел девичий половой орган...

Лилия умоляюще, тихо сказала:

– Ну, мама.

А мама стояла и улыбалась. Наконец, Лилия очень сильно дёрнула ногу и неуклюже рухнула в бочку. Девушка тотчас повернулась лицом ко мне и, свирепо глядя на меня, начала плескать ладонями воду в мою сторону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.